

Гюстав Флобер Госпожа Бовари Провинциальные нравы

МАРИ-АНТУАНУ-ЖЮЛЮ СЕНАРУ,

члену парижского сословия адвокатов, бывшему председателю Национального собрания, бывшему министру внутренних дел.

Дорогой и прославленный друг!

Позвольте мне во главе этой книги и перед ее посвящением поставить ваше имя: не кому другому, как вам, обязан я в первую очередь ее выходом в свет. Сделавшись предметом вашей блестящей защитительной речи, мой труд для меня самого приобрел некий новый и неожиданный авторитет. Примите же здесь дань моей признательности; как бы велика она ни была, ей никогда не стать на уровень вашего красноречия и вашей преданной дружбы.

Гюстав Флобер.

Париж, 12 апреля 1857 г.

Луи Буйле

Часть первая

I

Мы готовили уроки, когда вошел директор, а за ним *новичок* в штатском и служитель, который нес большую парту. Задремавшие проснулись, и все вскочили, словно только что оторвались от работы.

Директор знаком велел нам садиться и вполголоса сказал воспитателю:

— Вот, господин Роже, рекомендую вам нового ученика. Он поступает в пятый класс, но, если заслужит своими успехами и поведением, перейдет в *старшие*, как ему подобает по возрасту.

Новичок стоял в уголке за дверью, так что нам был еле виден. Это был деревенский мальчик лет пятнадцати, ростом выше нас всех. Волосы у него были подстрижены в кружок, как у сельского певчего; вид степенный и очень смущенный. Хотя он был неширок в плечах, но зеленый суконный пиджачок с черными пуговицами явно жал ему в проймах. Из обшлагов высывались красные, непривычные к перчаткам руки. Из-под высоко подтянутых на помочах панталон желтоватого цвета виднелись синие чулки. Башмаки были грубые, плохо вычищены, подбиты гвоздями.

Начали спрашивать уроки. Новичок ловил каждое слово и слушал внимательно, точно проповедь в церкви, не смея ни облокотиться, ни заложить ногу за ногу. В два часа, когда зазвенел колокольчик, воспитателю пришлось позвать его: сам он не стал с нами в пары.

У нас был обычай, входя в класс, бросать каскетки на пол, чтобы поскорее освободить руки. Кидать каскетку полагалось еще с порога, старались швырнуть ее под лавку и об стену, чтобы поднять побольше пыли. Такова была наша *манера*.

Но то ли новичок не заметил этого приема, то ли не посмел повторить его за нами, во всяком случае молитва уже давно кончилась, а он все еще держал свою каскетку на коленях. Это был сложный головной убор, соединявший в себе элементы и гренадерской шапки, и уланского кивера, и круглой шляпы, и мехового картуза, и ночного колпака, — словом, одна из тех уродливых вещей, немое безобразие которых так же глубоко выразительно, как лицо идиота. Яйцевидный, распяленный на китовом усе, он начинался ободком из трех валиков, похожих на колбаски; дальше шел красный околыш, а над ним — несколько ромбов из бархата и кроличьего меха; верх представлял собою что-то вроде мешка, к концу которого был приделан картонный многоугольник с замысловатой вышивкой из тесьмы, и с этого

многоугольника спускался на длинном тоненьком шнурочке подвесок в виде кисточки из золотой канители. Каскетка была новенькая, с блестящим козырьком.

— Встаньте! — сказал учитель.

Новичок встал, каскетка упала на пол. Весь класс захохотал.

Новичок нагнулся и поднял каскетку. Сосед подтолкнул ее локтем, она упала; он поднял ее еще раз.

— Да отделайтесь вы от своей каски! — сказал учитель: он был человек остроумный.

Школьники так и покатались со смеху, а бедный мальчик совсем растерялся и уже не знал, держать ли ему каскетку в руке, бросить ли ее на пол, или надеть на голову. Наконец он сел и положил ее на колени.

— Встаньте, — повторил учитель, — и скажите, как ваша фамилия.

Новичок, запинаясь, пробормотал что-то совершенно неразборчивое.

— Повторите!

Снова послышалось бормотанье, заглушенное хохотом и улюлюканьем всего класса.

— Громче! — закричал учитель. — Громче!

И тогда новичок непомерно широко разинул рот и с отчаянной решимостью, во все горло, словно он звал кого-то, кто был далеко, завопил:

«Шарбовари!» Оглушительный шум поднялся в ту же секунду и все нарастал мощным *crescendo*¹ со звонкими выкриками (мы ревели, выли, топали ногами, беспрестанно повторяя: «Шарбовари, Шарбовари!»), потом он распался на отдельные голоса и никак не мог улечься, то и дело пробегая по всему ряду парт, вспыхивая там и сям приглушенным смешком, словно не до конца погасшая шутиха.

Но вот под градом наказаний понемногу восстановился порядок, и учитель, наконец, разобрал слова: «Шарль Бовари», заставив новичка продиктовать себе это имя, произнести его по буквам и вновь перечитать, а затем приказал бедняге сесть на «скамью лентяев» у самой кафедры. Новичок двинулся с места, но тут же в нерешительности остановился.

— Что вы ищете? — спросил учитель.

— Кас... — робко начал было новичок, озираясь вокруг беспокойным взглядом.

— Пятьсот строк всему классу.

Этот яростный окрик, подобно грозному «*Quos ego!*»,² остановил новый взрыв.

¹ Музыкальный термин, означающий постепенное усиление звучности (*итал.*).

² Вот я вас! (*лат.*).

— Да успокойтесь же наконец! — с негодованием добавил учитель и, вытащив из-под шапочки платок, отер пот со лба. — А вы, новичок, двадцать раз письменно проспргаете «*ridiculus sum*». ³

И более ласковым голосом сказал:

— Ну, найдется ваша каскетка. Никто ее не украл.

Наконец наступила полная тишина. Головы склонились над тетрадями, а новичок просидел все два часа в самой примерной позе, хотя время от времени ему и попадали в лицо ловко пущенные с кончика пера шарики жеваной бумаги. Но он только отирал рукой брызги и продолжал сидеть совершенно неподвижно, опустив глаза.

Вечером, когда пришло время готовить уроки, он вынул из парты нарукавники, разобрал все свои вещи, тщательно разлиновал бумагу. Мы глядели, как добросовестно он работал, старательно проверяя все по словарю. Должно быть, только благодаря этому неподдельному усердию он и не остался в младшем классе: грамматические правила он знал неплохо, но в оборотах его речи не было никакого изящества. Жалея деньги, родители

³ Я смешон (*лат.*).

постарались отдать его в коллеж как можно позже, и начаткам латыни он учился у деревенского священника.

Отец его, отставной военный фельдшер, г-н Шарль-Дени-Бартоломе Бовари около 1812 года скомпрометировал себя в какой-то истории с рекрутским набором, был вынужден покинуть службу и воспользовался своими личными качествами, чтобы мимоходом подцепить приданое в шестьдесят тысяч франков, которое давал за дочь владелец шляпного магазина. Девушка влюбилась в его фигуру. Красавец-мужчина и краснбай, он звонко щелкал шпорами и носил усы с подусниками; на пальцах у него всегда сверкали перстни, одевался он в яркие цвета и вид имел самый бравый, отличаясь при этом живостью и развязностью коммивояжера. Женившись, г-н Бовари два-три года проживал приданое: хорошо обедал, поздно вставал, курил длинные фарфоровые трубки, каждый вечер бывал в театре и часто ходил в кафе. Потом тесть умер и оставил сущие пустяки; г-н Бовари вознегодовал, увлекся *фабричным производством*, чуть не разорился и удалился в деревню, чтобы здесь себя проявить. Но так как в земледелии он понимал не больше, чем в ситцах, так как лошадей он отрывал от пахоты и катался на них верхом, а вместо того чтобы продавать сидр бочками, сам пил его бутылками; так как лучшую

птицу своего птичника он съедал, а салом своих свиной смазывал охотничьи сапоги, то вскоре ему пришлось убедиться, что рассчитывать на хозяйство не приходится.

И вот за двести франков в год он снял в одной деревушке, на границе Ко и Пикардии, нечто среднее между фермой и барской усадьбой, и сорока пяти лет от роду засел там, снедаемый тоской и досадой, ропща на бога и завидуя всем на свете. Он говорил, что разочаровался в людях и решил доживать век на покое.

Жена когда-то была от него без ума. Она любила его рабски, и это только отдаляло его от нее. Смолоду веселая, оживленная и любящая, она с годами стала раздражительной, плаксивой и нервной: так вино, выдыхаясь, превращается в уксус. Сколько выстрадала она, не жалуясь, в первое время, когда муж бегал за каждой деревенской девчонкой, а по вечерам приходил домой из каких-то притонов, — приходил пресыщенный, пропахший вином! Но потом в ней пробудилась гордость. Тогда она умолкла, затаила злобу и замкнулась в немом стоицизме, который хранила до самой смерти. Вечно она была в бегах, в хлопотах. Это она ходила к адвокатам, к председателю суда, она помнила сроки векселей, добивалась продления; дома она гладила, шила, стирала, следила за работниками, расплачивалась

по счетам. А в это время ее супруг, ни о чем не заботясь и постоянно пребывая в брюзгливой полудремоте, которую он прерывал только для того, чтобы говорить жене неприятности, спокойно сидел у камина, покуривая трубку и сплевывая в золу.

Когда у г-жи Бовари родился ребенок, его пришлось отдать кормилице. Когда же мальчугана взяли снова домой, то стали баловать, как маленького принца. Мать закармливала его сладостями, отец позволял ему бегать босиком и даже, изображая из себя философа, говорил, что он мог бы ходить и совсем голым, как ходят детеныши животных. Наперекор нежным заботам матери, отец выдумал какой-то мужественный идеал детства, согласно которому и пытался развивать сына. Ему хотелось воспитывать мальчика сурово, по-спартански, закалить его здоровье. Он заставлял его спать в нетопленной комнате, приучал пить большими глотками ром и издеваться над религиозными процессиями. Но смиренный от природы мальчик плохо вознаграждал отцовские усилия. Мать повсюду таскала его за собой, вырезывала ему картинки, рассказывала сказки, изливалась перед ним в нескончаемых монологах, исполненных грустного веселья и болтливой нежности. В своем вечном одиночестве она перенесла на ребенка все свои разбитые,

рассеянные жизнью честолюбивые мечтания. Она придумывала для него высокие посты, он грезился ей взрослым, красивым, остроумным, отлично пристроенным в ведомстве путей сообщения или в суде. Она выучила его читать и даже петь два-три романса, аккомпанируя себе на стареньком фортепиано. Но г-н Бовари об учености заботился мало и говорил, что *все это ни к чему*. Разве у них когда-нибудь хватит средств, чтобы содержать сына в казенной школе, купить ему должность или торговое дело? К тому же *дорогу и так всегда пробить можно — только не плошай*. Г-жа Бовари молчала, закусив губы, а ребенок бегал по деревне.

Он уходил с работниками на пашню, гонял ворон, швырял в них комьями земли. Он рвал по оврагам тутовые ягоды, пас с хворостиной индюшек, ворошил сено, бегал по лесу, играл в дождливые дни на крытой церковной паперти в «котел», а по праздникам выпрашивал у пономаря разрешение позвонить в колокол и, повиснув всем телом на толстой веревке, уносился с нею в полете.

Так рос он, словно молодой дубок. У него были крепкие руки и румянец во всю щеку.

Когда ему исполнилось двенадцать лет, мать добилась, чтобы его начали учить. Это дело поручили священнику. Но уроки были так коротки и нерегулярны, что толку от них оказалось немного.

Давались они урывками, когда выпадало время, в ризнице, стоя и наспех, в свободные минуты между крещениями и погребениями, а иногда кюре посылал за учеником после вечерней службы, — в том случае, если ему никуда не надо было идти. Он поднимался с мальчиком в свою комнату, оба усаживались за стол; мошки и ночные бабочки носились вокруг свечи; было жарко, дремота одолевала ребенка, а добродушный старик начинал похрапывать, разинув рот и сложив руки на животе. Иной раз господин кюре, возвращаясь со святыми дарами от какого-нибудь больного, замечал расшалившегося мальчика в поле. Он подзывал Шарля, читал ему длинное нравоучение и, пользуясь случаем, предлагал тут же, под деревом, проспргать латинский глагол. Вскоре неожиданная встреча или начавшийся дождь прерывали урок. Впрочем, учитель был всегда доволен учеником и даже говорил, что у этого юноши отличная память.

Так дальше продолжаться не могло. Г-жа Бовари проявила большую настойчивость. Г-н Бовари, пристыженный или, скорее, утомленный, уступил ей без сопротивления, и с первым причастием мальчугана решили подождать еще год.

Прошло шесть месяцев, и в следующем году Шарля, наконец, отдали в руанский коллеж. В конце октября, во время ярмарки на святого Ромена, отец лично отвез его туда.

Сейчас никто из нас ничего не мог бы вспомнить о Шарле Бовари.

Это был мальчик уравновешенный: на переменах он играл; когда приходило время, готовил уроки; в классах внимательно слушал, в дортуаре крепко спал, в столовой ел с аппетитом. В отпуск он ходил к оптовому торговцу-скобянику на улице Гантери: тот брал его из коллежа раз в месяц, по воскресеньям, когда лавка была уже закрыта, и посылал на набережную погулять, поглядеть на корабли, а ровно в семь часов, перед ужином, приводил обратно в училище. Каждый четверг Шарль писал вечером матери длинное письмо, писал красными чернилами и запечатывал тремя облатками; потом он выправлял свои тетради по истории или читал истрепанный том «Анахарсиса», валявшийся в комнате для занятий. На прогулках он разговаривал со служителем, который был, как и он, из деревни.

Благодаря прилежанию он всегда держался в числе средних учеников, а один раз даже получил первую награду по естественной истории. Но в конце третьего года обучения родители взяли его из коллежа, чтобы он изучал медицину: они были уверены, что степени бакалавра Шарль добьется собственными силами.

Мать нашла ему комнату на улице О-де-Робек, на пятом этаже, у знакомого

красильщика. Она договорилась с хозяином о пансионе, раздобыла сыну мебель — стол и два стула, выписала из деревни старую кровать вишневого дерева и, сверх того, купила чугунную печурку с запасом дров, чтобы бедному мальчику не было холодно. И через неделю уехала домой, снабдив Шарля тысячью советов вести себя как следует, — ведь теперь он предоставлен самому себе.

Программа занятий, с которой Шарль познакомился, произвела на него впечатление ошеломляющее: курс анатомии, курс патологии, курс физиологии, курс фармации, курс химии, и ботаники, и клиники, и терапевтики, не считая гигиены и энциклопедии медицины. Он не знал происхождения этих слов, и каждое казалось ему дверью в некое святилище, исполненное величественного мрака.

Шарль не мог во всем этом разобраться. Сколько ни слушал он профессоров, до него не доходило ни слова. И все-таки он продолжал трудиться — завел толстые тетради в переплетах, посещал все лекции, не пропускал ни одного медицинского обхода. Он выполнял свои скромные обязанности, словно рабочая лошадь, которая ходит с завязанными глазами по кругу и сама не знает, что делает.

Чтобы избавить сына от лишних трат, мать еженедельно посылала ему с почтовой каретой кусок жареной телятины. Этой телятиной он завтракал по утрам, вернувшись из больницы, и при этом, стараясь согреться, топал ногами. Потом надо было бежать на лекции, в анатомический театр, к больным и возвращаться домой через весь город. Вечером, после скудного обеда у квартирного хозяина, Шарль уходил к себе в комнату, снова садился за учение около докрасна раскаленной печурки, и пар поднимался от его отсыревшей одежды.

В погожие летние вечера, в час, когда улицы пустеют и служанки играют у ворот в волан, он распахивал окно и облакачивался на подоконник. Прямо под ним, между мостами и решетками набережной, текла река, то желтая, то лиловая, то голубая, превращавшая эту часть Руана в жалкое подобие Венеции. Кое-где у самой воды сидели на корточках рабочие и мыли руки. На жердях, высовывавшихся из чердаков, сушились мотки бумажной пряжи. А перед ним, над крышами, простиралось огромное безоблачное небо и заходило багровое солнце. Как, должно быть, хорошо на той стороне! Какая прохлада в буковых рощах! И Шарль раздувал ноздри, словно вдыхая милые деревенские запахи, которые до него не долетали.

Он похудел, вытянулся, лицо его приняло несколько грустное выражение и сделалось почти интересным.

Кончилось тем, что он совершенно естественно, по простой небрежности, изменил всем своим благим намерениям. Как-то раз он пропустил демонстрацию больного, на другой день — лекцию и, наслаждаясь праздностью, понемногу совсем перестал ходить на занятия.

Он привык посещать кабачки, пристрастился к домино. Садиться каждый вечер в грязноватом зале питейного заведения и стучать по мраморному столику костяшками с черными очками казалось ему драгоценным актом независимости. От этого повышалось его самоуважение. Это было для него как бы вступлением в мир, первым прикосновением к запретным радостям; входя в кабачок, он брался за дверную ручку с наслаждением, — почти чувственным. И многое, что прежде было подавлено, распустилось в нем пышным цветом: он затвердил наизусть немало куплетов и пел их на дружеских пирушках, он проникся энтузиазмом к Беранже, научился делать пунш и, наконец, познал любовь.

Благодаря таким подготовительным занятиям Шарль с треском провалился во время выпускных экзаменов на звание санитарного врача. В этот

самый день его ждали к вечеру дома, чтобы достойно отпраздновать успехи!

Он отправился домой пешком, остановился у околицы, послал за матерью и рассказал ей все. Она простила его, приписала провал несправедливости экзаменаторов, взялась сама все устроить и немного подбодрила сына.

Отец узнал истину только через пять лет; она успела потерять остроту, и г-н Бовари примирился с нею. Впрочем, он никогда не мог бы представить себе, что его отпрыск оказался тупицей.

Итак, Шарль снова принялся за работу и, уже не отрываясь, готовился к экзаменам. Он выучил все вопросы программы наизусть и получил довольно хорошие отметки. Какой прекрасный день для матери! Дома устроили званый обед.

Где же ему теперь применять свое лекарское искусство? В Тосте! Там был всего один врач, да и тот старик. Г-жа Бовари давно поджидала его смерти, и не успел еще добряк убраться на погост, как Шарль уже поселился напротив его дома в качестве преемника.

Но воспитать сына, дать ему медицинское образование и найти город Тост, где он мог бы применять его на деле, — это еще далеко не все: молодому человеку нужна была жена. И мать подыскала ему невесту — вдову судебного

пристава из Дьеппа, женщину сорока пяти лет, но с годовым доходом в тысячу двести ливров.

Хотя г-жа Дюбюк была безобразна, суха, как палка, и вся прыщеватая, недостатка в женихах у нее не было. Чтобы добиться своей цели, г-же Бовари пришлось всех устранить: она ловко расстроила даже происки одного колбасника, которого поддерживали священники.

Шарль думал, что брак улучшит его положение; он воображал, что станет свободнее, будет сам располагать собою и своими деньгами. Но супруга прибрала его к рукам; ему пришлось взвешивать на людях каждое свое слово, поститься по пятницам, одеваться по жениному вкусу, донимать по ее приказу тех пациентов, которые задерживали плату. Жена распечатывала его письма, следила за каждым его шагом и, когда он принимал больных женщин, подслушивала у перегородки. По утрам ей непременно нужен был шоколад, каждую минуту требовались бесконечные знаки внимания. Она постоянно жаловалась то на нервы, то на боль в груди, то на плохое самочувствие; шума шагов она не выносила. Муж уходил — ее терзало одиночество; муж возвращался — уж конечно, он хотел полюбоваться картиной ее смерти. Вечером, когда Шарль приходил домой, она вытаскивала из-под одеяла свои длинные тощие руки, обнимала его за шею,

заставляла сесть к ней на кровать и принималась изливать свои горести: он ее забыл, он любит другую! Ей предсказывали, что она будет несчастна!.. И кончала неизменной просьбой: немного какого-нибудь лечебного сиропа и чуть-чуть побольше любви.

II

Однажды ночью, около одиннадцати часов, супругов разбудил конский топот. Лошадь остановилась у самого крыльца. Служанка открыла на чердаке слуховое окошечко и вступила в переговоры с верховым, стоявшим внизу, на улице. Он приехал за доктором; у него было с собой письмо. Настази, дрожа от холода, спустилась по лестнице и стала отпирать замки, отодвигать засовы. Приезжий слез с лошади и, следуя за служанкой по пятам, вошел в спальню. Вытащив из шерстяной шапки с серыми кистями завернутое в тряпочку письмо, он почтительно передал его Шарлю. Тот оперся локтем на подушку и принялся читать. Настази стояла со свечкой у самой кровати. Барыня, застыдившись, повернулась к стенке, спиной к постороннему.

Письмо было запечатано маленькой печатью синего сургуча. В нем г-на Бовари умоляли немедленно приехать на ферму Берто и помочь

человеку, который сломал себе ногу. Но от Тоста до Берто — через Лонгвиль и Сен-Виктор — было добрых шесть льё. Ночь стояла темная, хоть глаз выколи. Г-жа Бовари-младшая боялась, как бы с мужем не случилось чего по дороге. Поэтому было решено, что конюх, привезший письмо, отправится вперед, а Шарль поедет через три часа, когда взойдет луна. Хозяева вышлют ему навстречу мальчишку показать дорогу и отпереть ворота.

Около четырех часов утра Шарль, плотно закутавшись в плащ, отправился в путь. Еще не очнувшись от сна в теплой постели, он дремал, убаюкиваемый спокойной рысцой лошади. Когда она вдруг останавливалась перед обсаженными терновником ямами, какие выкапывают на краю поля, Шарль сразу просыпался, вспоминал о сломанной ноге и начинал восстанавливать в памяти все известные ему виды переломов. Дождь перестал; начинало светать, и птицы, взъерошив перышки под холодным ночным ветром, недвижно сидели на голых ветвях яблонь. Кругом уходили в бесконечность ровные поля, и только редкие, далеко разбросанные фермы выделялись фиолетовыми пятнами рощиц на этой серой равнине, сливавшейся у горизонта с хмурым небом. Время от времени Шарль открывал глаза; но усталость одолевала, дрема клонила его, и он снова впадал в какой-то полусон, в котором недавние

впечатления перемешивались со старыми воспоминаниями: он ощущал какую-то раздвоенность, был одновременно и студентом, и женатым человеком; лежал в постели, как только что, и проходил по хирургической палате, как в прежние времена. Горячий запах припарок сливался в его голове со свежим запахом росы; он слышал лязг железных колец полога по медным прутьям над кроватями больных и дыхание спящей жены... Проезжая Вассонвиль, он увидел мальчика, сидевшего на траве у канавы.

— Вы доктор? — спросил мальчик.

И, получив утвердительный ответ, взял в руки свои деревянные башмаки и побежал впереди него.

По пути врач из рассказов своего провожатого понял, что г-н Руо весьма зажиточный земледelec, ногу он сломал накануне вечером, возвращаясь от соседа с крещенского пирога. Два года назад он овдовел. Теперь при нем осталась только дочка-барышня, которая и помогала ему по хозяйству.

Колеи дороги стали глубже. Врач подъехал к Берто. Тут мальчик, юркнув в какую-то лазейку, скрылся за изгородью, вынырнул во дворе и отпер ворота. Лошадь скользила по мокрой траве. Шарль нагибался, проезжая под нависшими ветвями. Псы заливались у конур, отчаянно натягивая цепи. Когда

Шарль въехал во двор, лошадь испугалась и метнулась в сторону.

Ферма была в хорошем состоянии. В открытые ворота конюшен виднелись крупные рабочие лошади: они спокойно жевали сено из новеньких решетчатых кормушек. Вдоль строений тянулась огромная навозная куча, и от нее поднимался пар, а поверху, среди индюшек и кур, бродили, подбирая корм, пять или шесть павлинов — гордость кошских фермеров. Овчарня была длинная, рига высокая, с чистыми и гладкими стенами. Под навесом стояли две большие телеги и четыре плуга. И тут же висели кнуты, хомуты, вся сбруя с синими шерстяными потниками, осыпанными мелкой трухой, которая налетала с сеновала. Симметрично обсаженный деревьями двор отлого поднимался в гору, и у прудика раздавалось веселое гоготанье гусяного стада.

Навстречу г-ну Бовари из дома вышла молодая женщина в синем мериносовом платье с тремя оборками. Она повела доктора на кухню, где был разведен яркий огонь. Вокруг него в больших и маленьких котелках варился завтрак для работников. В камине сушилась промокшая одежда. Кочерга, каминные щипцы и горло поддувального меха — все это огромных размеров — сверкали, как полированная сталь, а вдоль стен тянулась батарея начищенной до блеска кухонной посуды, в которой

неровно отсвечивали яркое пламя очага и первые солнечные лучи, проникавшие в окно.

Шарль поднялся на второй этаж к больному. Тот лежал под одеялами весь в поту, откинув в сторону ночной колпак. Это был маленький толстенный человечек лет пятидесяти, с белой кожей, голубоглазый, лысый со лба и в серьгах. На стуле рядом с кроватью стоял большой графин водки, из которого он время от времени наливал себе для храбрости по рюмочке. Но когда больной увидел врача, все его возбуждение сразу исчезло, и, перестав ругаться (а ругался он уже двенадцать часов подряд), бедняга принялся тихонько и жалобно стонать.

Перелом оказался самый простой, без малейших осложнений. Ничего лучшего Шарль не мог бы и желать. И вот, припомнив, как вели себя в присутствии раненых его учителя, он стал подбадривать пациента всяческими шуточками — хирургическим остроумием, подобным маслу, которым смазывают ланцеты. Из-под навеса, где стояли телеги, принесли связку дранок на лубки. Шарль выбрал дранку, расщепил ее на полоски и поскоблил осколком стекла; в это время служанка рвала простыню на бинты, а мадмуазель Эмма с величайшим усердием шила подушечки. Она долго не могла найти игольник, и отец рассердился; не отвечая ни слова на его упреки, она торопливо

шила, то и дело колола себе пальцы и тут же подносила руку ко рту, высасывая кровь.

Шарля поразила белизна ее ногтей. Они были блестящие и узкие на концах, отполированы лучше дьеппской слоновой кости и подстрижены в форме миндалин. Однако руки у девушки были не очень красивы, — пожалуй, недостаточно белы и слишком сухи в суставах; да и вообще они были длинноваты, лишены мягкой округлости в очертаниях. Но зато действительно прекрасны были глаза — темные, от длинных ресниц казавшиеся черными, — и открытый, смелый и доверчивый взгляд.

После перевязки сам г-н Руо предложил доктору *закусить на дорожку*.

Шарль спустился в залу. Там на маленьком столике, подле кровати с балдахинном и пологом из набойки, на которой были изображены турки, стояли два прибора и серебряные стаканчики. Из высокого дубового шкафа, помещавшегося против окна, пахло ирисом и свежим полотном. По углам стояли на полу мешки с пшеницей — излишек, которому не хватало места в соседней кладовой, куда вели три каменных ступеньки. На стене, выкрашенной в зеленую краску и немного облупившейся от селитры, висело на гвоздике украшение комнаты — голова Минервы в золотой рамке, рисованная углем. Вдоль нижнего края

картинки шла надпись готическими буквами: «Дорогому папочке».

За закуской говорили сначала о больном, потом о погоде, о сильных холодах, о том, что по ночам в поле рыщут волки. Мадмуазель Руо очень невесело живет в деревне, особенно теперь, когда ей приходится вести одной все хозяйство. В зале было холодно, девушка слегка дрожала, и от этого приоткрывались ее пухлые губки. У нее была привычка прикусывать их в минуты молчания.

Белый отложной воротничок низко открывал ее шею. Ее черные волосы разделялись тонким пробором, спускавшимся к затылку, на два бандо, так гладко зачесанных, что они казались цельным куском; едва закрывая уши, они были собраны сзади в пышный шиньон и оттеняли виски волнистой линией; такую линию сельский врач видел впервые в жизни.

Щеки у девушки были розовые. Между двумя пуговицами корсажа был засунут, как у мужчины, черепаховый лорнет.

Перед отъездом Шарль зашел проститься с папашей Руо, затем вернулся в залу, где барышня стояла у окна и глядела в сад на поваленные ветром тычинки для бобов. Она обернулась и спросила:

— Вы что-то потеряли?

— Да, хлыстик, с вашего разрешения, — отвечал Шарль и стал разыскивать на кровати, за дверью, под стульями.

Хлыст завалился к стене за мешки. Мадмуазель Эмма увидела его первая и нагнулась над мешком пшеницы. Шарль любезно поспешил на помощь, потянулся одновременно с ней и вдруг почувствовал, как его грудь прикоснулась к спине наклонившейся впереди него девушки. Она выпрямилась и, вся покраснев, взглянула на него через плечо, подавая ему хлыст.

Шарль обещал навестить больного через три дня, но вместо того явился на следующий же день, а потом зачастил по два раза в неделю, да еще время от времени приезжал вне очереди, словно по забывчивости.

А между тем все шло отлично. Выздоровление подвигалось по всем правилам, и когда спустя сорок шесть дней дядюшка Руо попробовал ходить по своей *лачуге* без посторонней помощи, за г-ном Бовари стала утверждаться слава очень способного человека. Дядюшка Руо говорил, что лучше, чем он, не умеют лечить первейшие врачи в Ивето и даже в Руане.

Шарль и не пытался понять, почему ему так нравилось бывать в Берто. Если бы он подумал об этом, то, всего вернее, приписал бы свое усердие серьезности медицинского случая, а может быть, и

надежде на хороший гонорар. Но действительно ли по этой причине посещение фермы было каким-то счастливым исключением из всех будничных занятий его жизни? Собираясь в Берто, он вставал раньше обычного, по дороге пускался галопом, погонял коня, а, не доезжая фермы, соскакивал с седла, вытирал сапоги о траву и натягивал черные перчатки. Он полюбил въезжать на широкий двор, плечом открывая ворота, полюбил пение петуха, взлетающего на ограду, и выбегающих навстречу батраков. Он полюбил ригу и конюшни, полюбил дядюшку Руо, который размашисто хлопал его по ладони, называя своим спасителем, он полюбил стук маленьких деревянных башмачков мадмуазель Эммы по чисто вымытым каменным плиткам кухонного пола. От высоких каблуков девушка казалась немного выше, и когда она шла впереди врача, деревянные подошвы быстро подскакивали кверху и сухо щелкали о кожу ботинок.

Она всегда провожала его до первой ступеньки крыльца. Если лошадь еще не была подана, они вместе ждали ее здесь. Они прощались в доме и больше уже не разговаривали; свежий ветер, обвевая девушку, трепал выбившиеся волоски на затылке или играл завязками передника, которые бились на ее бедрах, как флажки. Однажды, в оттепель, сочилась кора деревьев в саду, таял снег на крышах построек. Она стояла на

пороге дома, потом пошла за зонтиком, открыла его. Пронизанный солнцем сизый шелковый зонт отбрасывал на ее белое лицо пляшущие цветные блики. А она улыбалась мягкому теплу, и слышно было, как падают капли на натянутый муар.

Когда Шарль только еще начал ездить в Берто, г-жа Бовари-младшая не забывала осведомляться о здоровье г-на Руо и даже отвела ему в своей приходе-расходной книге большую чистую страницу. Но узнав, что у него есть дочь, она навела справки; оказалось, что мадмуазель Руо обучалась в монастыре урсулинок и получила, как говорится, *блестящее воспитание*, что, следовательно, она танцует, рисует, вышивает, знает географию и немного играет на фортепиано. Это было уж слишком!

«Так вот почему, — думала г-жа Бовари, — вот почему он так и сияет, когда собирается к ней! Вот почему он надевает новый жилет и даже не боится попасть в нем под дождь. О, эта женщина! Эта женщина!...»

И г-жа Бовари инстинктивно возненавидела девушку. Сначала она отводила душу намеками, — Шарль их не понимал. Потом принялась за рассуждения, будто случайные, — Шарль, боясь бури, пропускал их мимо ушей. И, наконец, перешла к нападениям в упор; но Шарль молчал и тут, не зная, что отвечать. И зачем это он все ездит

в Берто, когда г-н Руо уже выздоровел, а денег за лечение эти люди еще не заплатили? Еще бы, там ведь есть одна *особа*, она умеет поддерживать разговор, она рукодельница, она умница! Он это любит — подавай ему городских барышень...

— Дочка дядюшки Руо — и вдруг городская барышня! — начинала она снова. — Скажите пожалуйста! Дед ее был пастух, а какой-то родственник чуть не попал под суд за то, что во время спора затеял драку. Нечего ей так задирать нос и по воскресеньям ходить в церковь в шелковом платье, словно она графиня. Бедный дядюшка Руо! Не будь в прошлом году урожая на репу, ему бы никак не выплатить недоимки!

Шарлю надоело все это, и он прекратил визиты в Берто. После бесконечных слез и поцелуев Элоиза в великом порыве любви заставила его поклясться на молитвеннике, что он туда больше никогда не поедет. Итак, он покорился; но смелость желания бунтовала в нем против его рабского поведения. Простодушно лицемеря перед самим собой, он рассудил, что запрет видеть Эмму окончательно утверждает за ним право любить ее. К тому же вдова была сухопара, зубы у нее были лошадиные, во всякую погоду она носила коротенькую черную шаль, и кончик этой шали топорщился у нее между лопатками. Она скрывала свой костлявый стан старомодными платьями,

напоминавшими покроем чехол, и такими короткими, что из-под юбки постоянно были видны лодыжки в серых чулках, на которых переплетались завязки неуклюжих туфель.

Время от времени супругов навещала мать Шарля. Невестка в несколько дней заставила ее плясать под свою дудку, и вот обе принялись сообща пилить его, донимая всяческими рассуждениями и замечаниями. Напрасно он так много ест. Зачем угощать вином всякого, кто бы ни пришел? Какое бессмысленное упрямство — никогда не носить фланелевого белья!

А весной ингувильский нотариус, у которого хранилось все состояние вдовы Дюбюк, отбыл с первым попутным ветром, захватив с собой все суммы, какие были у него в конторе. Правда, у Элоизы еще остались деньги — доля, вложенная ею в корабль, которая исчислялась в шесть тысяч франков, и дом на улице Сен-Франсуа, но в сущности она из всего своего хваленного состояния принесла в хозяйство только немного мебели да кой-какие тряпки. Пришлось вывести дело на чистую воду. Оказалось, что дом в Дьеппе заложен и перезаложен от крыши до фундамента; сколько увез с собой нотариус, одному богу было известно, а доля в суде никак не превышала тысячи экю. Словом, она все врала, эта милая особа!.. Г-н Бовари-отец сломал стул о каменный пол — так

негодовал он на жену: ведь она своими руками погубила сына, спутала его с этой клячей, у которой сбруя не лучше шкуры. Старики явились в Тост. Последовало объяснение. Разразилась жестокая сцена. Элоиза, вся в слезах, бросилась Шарлю на шею, умоляя защитить ее. Ему пришлось вступиться. Родители обиделись и уехали.

Но удар был уже нанесен. Спустя неделю у Элоизы, в то время, когда она развешивала во дворе белье, пошла горлом кровь, а на другой день, когда Шарль отвернулся, чтобы задернуть оконную занавеску, она сказала: «Ах, боже мой», вздохнула и лишилась чувств. Она умерла. Удивительно!

Когда на кладбище все кончилось, Шарль вернулся домой; внизу никого не было; он поднялся в спальню, увидел платье жены, висевшее в ногах кровати. И тогда, облокотившись на письменный стол, в тяжелом раздумье он просидел до самого вечера. Все-таки она его любила.

III

Однажды утром дядюшка Руо привез Шарлю плату за свою вылеченную ногу — семьдесят пять франков монетами по сорока су и откормленную индюшку. Он слышал о несчастье молодого человека и стал утешать его, как умел.

— Я знаю, что это такое, — говорил он, хлопая его по плечу. — Со мной ведь было то же самое. Когда умерла моя бедная жена, я уходил в поля, чтобы только не видеть людей; бросишься там на землю у какого-нибудь дерева и плачешь, призываешь господа бога, говоришь ему всякие глупости. Увижу, бывало, на ветке крота — висит, а черви так и кишат у него в животе, — и вот завидую ему, хочу издохнуть. А как вспомню, что другие в это время обнимаются со своими милыми женушками, так и начну изо всех сил колотить палкой по земле. Совсем помешался, даже есть перестал: вы не поверите, от одной мысли о кофейне мне становилось тошно. И что ж, потихоньку да полегоньку, день за днем, за зимой весна, а за летом осень — и по капельке, по крошечке все ушло! Все утекло, все минуло... или, вернее сказать, утихло: ведь в глубине души все-таки что-то остается, вроде тяжести какой-то вот здесь, на сердце!.. Но раз уж такая наша судьба, то не стоит понапрасну изводить себя, не следует желать себе смерти из-за того, что умер близкий человек... Пора вам встряхнуться, господин Бовари. Все пройдет! Приезжайте к нам, дочка моя иногда, знаете, вспоминает про вас, говорит, что вы ее забыли. Скоро весна; мы с вами поохотимся в заказе на кроликов, вот вы немножко и развлечетесь.

Шарль послушался. Он поехал в Берто и застал там все то же, что и раньше, то есть как пять месяцев назад. Только груши были уже в цвету, и добряк Руо, которого он поставил на ноги, расхаживал по ферме, что придавало ей некоторое оживление.

Считая своим долгом окружить врача, как человека, перенесшего большое горе, всяческим вниманием, старик Руо просил его не ходить с открытой головой, говорил с ним шепотом, словно с больным, и даже притворялся, будто сердится, что ему не приготовили какого-нибудь отдельного блюда полегче, вроде крема или печеных груш. Когда Руо стал рассказывать анекдоты, Шарль поймал себя на том, что смеется, но тут же вдруг вспомнил о жене и нахмурился. Подали кофе, он перестал о ней думать.

Он думал о ней тем меньше, чем больше привыкал жить в одиночестве. Никогда не испытанная радость свободы скоро помогла ему переносить вдовство. Теперь он мог менять часы завтраков и обедов, мог когда угодно уходить и возвращаться без всяких объяснений, а если очень устанет, развалиться на кровати во всю ее ширь. И он нежился, баловал себя, принимал от знакомых соблезнования. А с другой стороны, смерть жены оказала ему немалую услугу в работе. Целый месяц все твердили: «Бедный молодой человек! Какое

несчастье!» Имя его приобрело известность, клиентура возросла, и, наконец, он ездил в Берто, сколько хотел. Он ощущал какую-то беспредметную надежду, какое-то смутное счастье. Приглаживая перед зеркалом бакенбарды, он находил, что лицо его стало гораздо приятнее прежнего.

Однажды он попал на ферму около трех часов; все работали в поле. Он зашел на кухню, но сначала не заметил Эммы: ставни были закрыты. Солнечные лучи пробивались сквозь щели, вытягиваясь на каменных плитах тоненькими полосками, ломались об углы мебели и дрожали на потолке. По столу ползали мухи, они карабкались по грязным стаканам и с жужжанием тонули на дне в остатках сидра. Под солнцем, проникавшим через каминную трубу, отсвечивала бархатом сажа и слегка голубела остывшая зола. Эмма шила, сидя между печкой и окном, косынки на ней не было, на голых плечах виднелись капельки пота.

По деревенскому обычаю, она предложила Шарлю выпить. Он отказался. Эмма стала упрашивать и, наконец, смеясь сказала, что сама отведаст с ним рюмку ликера. И вот она взяла из шкафа бутылку кюрасо, достала две рюмки, одну налила до краев, в другую только капнула и, чокнувшись, пригубила ее. Так как рюмка была почти пустая, то Эмма вся перегнулась назад и,

закинув голову, напрягши шею, вытянула губы; она смеялась, потому что не чувствовала никакого вкуса, а кончиком языка, проскальзывавшим между белыми мелкими зубами, слизывала ликер со дна рюмки.

Эмма снова села и принялась за свое дело — штопку белого бумажного чулка; она работала, опустив голову, и не говорила ни слова; Шарль тоже молчал. Ветерок, поддувая под дверь, перегонял по полу пыль; молодой человек глядел, как она двигалась, и слышал только стук в ушах да дальний крик курицы, которая снеслась во дворе. Время от времени Эмма освежала себе щеки, прижимая к ним ладони, а потом охлаждала руки на железном набалдашнике огромных каминных щипцов.

Она пожаловалась, что с жаркой погодой у нее начались головокружения; спросила, не будет ли ей полезно морское купанье; потом стала рассказывать о монастыре, а Шарль о своем коллеже, и оба разговорились. Поднялись в комнату Эммы. Здесь она показала молодому человеку свои старые ноты, книжки, полученные в награду за успехи, венки из дубовых веток, валявшиеся в нижнем ящике шкафа. Она заговорила о своей матери, о кладбище и даже показала Шарлю грядку, с которой каждый месяц, в первую пятницу, срывала цветы на ее могилу. Но садовник ничего не

понимает в своем деле. Ужасная вообще прислуга! Как было бы приятно жить в городе хотя бы зимой; впрочем, летом в деревне, пожалуй, еще скучней: дни такие длинные!.. И в соответствии со смыслом слов голос Эммы то звучал высоко и чисто, то вдруг становился томным и, когда она начинала говорить о себе, замедлялся в тягучих переходах, замирая почти до шепота; она то широко и радостно открывала наивные глаза, то слегка опускала веки, и взгляд ее туманился скукой, мысль смутно блуждала.

Вечером, по дороге домой, Шарль припоминал одну за другой все ее фразы, пытаясь точно восстановить, пополнить их смысл, чтобы самому принять участие в той жизни, которой жила девушка в те времена, когда он еще ее не знал. Но ему ни разу не удалось представить себе Эмму иною, чем он ее видел в первый раз или какой только что ее оставил. Потом он стал думать, что с ней будет, если она выйдет замуж. А за кого? Увы! Дядюшка Руо очень богат, а она... она так прекрасна! Но лицо Эммы снова и снова вставало у него перед глазами, и что-то монотонное, словно жужжание волчка, непрерывно гудело в ушах: «А что, если бы жениться!» Ночью он не спал, саднило в горле, мучила жажда; он встал, напился воды из графина и открыл окно. Небо было усеяно

звездами, дул теплый ветерок, вдали лаяли собаки. Шарль повернул голову в сторону Берто.

Считая, что в конце концов он ничем не рискует, Шарль дал себе слово при первом же удобном случае сделать предложение; но всякий раз, как такая возможность представлялась, у него немел язык от страха, что он не найдет нужных слов.

Дядюшка Руо несколько не огорчился бы, если бы его избавили от дочери: она ничем не помогала ему по дому. Он на нее не сердился, находя, что она слишком умна для сельского хозяйства; это занятие проклято небом — на нем еще никто не нажил миллионов. Добряк и сам не только не богател, но из года в год терпел убытки. Если он очень ловко сбывал свои продукты, получая большое удовольствие от коммерческих хитростей, то для хозяйства в собственном смысле слова, для внутреннего управления фермой, он был самым неподходящим человеком. Он не склонен был утруждать себя работой и нимало не скупился на личные расходы: ему нравилась вкусная еда, жарко натопленная печь и мягкая постель. Он любил крепкий сидр, сочное жаркое, любил медленно потягивать кофе с коньяком. Обедал он на кухне, усаживаясь один у очага за маленьким столиком, который ему подавали уже накрытым, как в театре.

Итак, заметив, что в присутствии Эммы у Шарля краснеют щеки, — а это значило, что на днях последует предложение, — дядюшка Руо заранее обмозговал все дело. Врач казался ему немножко *замухрышкой*, и вообще не такого бы он желал зятя, но зато, по слухам, это был человек хорошего поведения, бережливый, отлично образованный и уж, конечно, не такой, чтобы слишком придираться к приданому. А так как дядюшке Руо пришлось недавно продать двадцать два акра своего *имения*, так как он много задолжал каменщику и не меньше того шорнику, а надо было переделывать вал виноградного пресса, то он решил: «Если он посватается, я выдам за него дочку».

Около Михайлова дня Шарль приехал в Берто на трое суток. Третий день, как и два предыдущих, протянулся в отсрочках отъезда с минуты на минуту. Дядюшка Руо пошел провожать Шарля; они шагали по наезженной дороге и уже собирались прощаться — время настало. Шарль дал себе срок до угла загородки и, наконец, миновав его, прошептал:

— Мэтр Руо, мне надо вам кое-что сказать.

Оба остановились. Шарль молчал.

— Ну, рассказывайте, что у вас там! Будто я сам всего не знаю! — тихо смеясь, сказал дядюшка Руо.

— Дядюшка Руо... дядюшка Руо... — бормотал Шарль.

— Я ничего лучшего и не желаю, — продолжал фермер. — Но хотя девочка, конечно, думает то же, что и я, надо все-таки ее спросить. Только смотрите: если она скажет «да», вам не следует возвращаться, а то пойдут сплетни, да и она растревожится. А чтобы вы не извелись вконец, я распахну настежь ставни: вы это увидите с задней стороны дома, если заглянете через забор.

И ушел.

Шарль привязал лошадь к дереву, побежал на тропинку и стал ждать. Прошло полчаса, потом он отсчитал по стрелке еще девятнадцать минут. Вдруг что-то стукнуло об стену — ставни распахнулись, щеколда еще дрожала.

На другой день Шарль в девять часов утра был уже на ферме. Когда он вошел, Эмма покраснела, хотя из приличия пыталась засмеяться. Дядюшка Руо обнял будущего зятя. Заговорили о денежных делах; впрочем, на это еще оставалось достаточно времени, потому что венчаться до окончания траура Шарля, то есть до будущей весны, было бы неудобно.

Зима прошла в ожидании. Мадмуазель Руо занималась своим приданым. Часть его была заказана в Руане, а сорочки и чепчики она шила сама, достав модные картинки. Когда Шарль

приезжал на ферму, говорили о приготовлениях к свадьбе, придумывали, в какой комнате устроить обед, соображали, сколько нужно будет блюд и какие подавать закуски.

Эмме хотелось венчаться в полночь, при факелах, но дядюшка Руо никак не мог взять в толк эту выдумку. И устроили настоящую свадьбу: гостей прибыло сорок три человека, за столом сидели шестнадцать часов, а наутро пир начался снова и, постепенно замирая, продолжался еще несколько дней.

IV

Приглашенные стали съезжаться с раннего утра — в повозках, одноколках, двухколесных шарабанах, в старинных кабриолетах без верха, в крытых возках с кожаными занавесками; молодежь из ближних деревень приехала на длинных телегах, где парни стояли в ряд по краям и, чтобы не упасть, держались за поручни: лошади бежали рысью, на ухабах сильно трясло. Народ явился за десять льё из Годервиля, из Норманвиля, из Кани. Были приглашены все родственники жениха и невесты, хозяева помирились со всеми друзьями, с какими были в ссоре, вызвали письмами и таких знакомых, которых уже давно успели потерять из виду.

Время от времени из-за изгороди доносилось щелканье бича, тотчас распахивались ворота, и во двор въезжала повозка. Она во весь дух подкатывала к самому крыльцу, круто останавливалась и начинала разгружаться. Люди вылезали из нее с обеих сторон, растирая себе колени и потягиваясь. Дамы были в чепцах и платьях городского покроя с золотыми часовыми цепочками, в накидках, концы которых скрещивались на поясе, или в маленьких цветных косынках, скрепленных на спине булавкой и открывавших сзади шею. Мальчишки, одетые точно так же, как и их папаши, по-видимому, очень неудобно чувствовали себя в новых костюмах (многие в тот день впервые в жизни надели сапоги), а рядом с выводком ребят, не произнося ни слова, стояла в белом платье, сшитом к первому причастию и удлиненом для торжественного случая, какая-нибудь большая девочка лет четырнадцати-шестнадцати — кузина или старшая сестра, — вся красная, растерянная, напوماженная розовой помадой и боявшаяся запачкать перчатки.

Конюхов не хватало, и мужчины, засучив рукава, сами распрягали лошадей. Одеты они были сообразно своему общественному положению: кто во фраке, кто в сюртуке, кто в пиджаке, кто в куртке — все добротные костюмы, к которым в семье относились с величайшим почтением и

извлекали из шкафов только по большим праздникам; сюртуки с длинными, разлетающимися по ветру лапами, с цилиндрическими стоячими воротниками и огромными, как мешки, карманами; куртки толстого сукна, при которых обычно носили фуражку с медной кромкой на козырьке; коротенькие пиджачки с парой тесно — словно глаза — посаженных на спине пуговиц и с такими тугими фалдами, как будто их вырубил из цельного куска дерева плотник. Иные из гостей (но этим, конечно, пришлось обедать на нижнем конце стола) были даже в парадных блузах: откидной ворот лежал на самых плечах, спина, собранная в мелкие складки, перехвачена низко подпоясанным шитым пояском.

А крахмальные сорочки топорщились, как панцири! Все мужчины были только что подстрижены, так что уши у них оттопыривались; все чисто выбриты, а у тех, кто встал до зари и плохо видел, когда брился, заметны были даже косые царапины под носом или крупные, как трехфранковик, пятна срезанной по краю подбородка кожи. В дороге ссадины обветрились, и расплывшиеся белые лица были как будто разделаны под розовый мрамор.

От фермы до мэрии считалось пол-льё, и туда отправились пешком. Вернулись домой после церковного обряда тоже пешком. Сначала гости

шли плотной вереницей — словно цветной шарф извивался по узкой меже, змеившейся между зелеными хлебами; но скоро кортеж растянулся и разбился на группы; люди болтали и не торопились. Впереди всех шагал музыкант с разукрашенной атласными лентами скрипкой; за ним выступали новобрачные, а дальше шли вперемешку родственники и знакомые. Дети далеко отстали: они обрывали сережки овса и втихомолку забавлялись играми. Длинное платье Эммы слегка волочилось по земле; время от времени она останавливалась, приподнимала его и осторожно снимала затянутыми в перчатки пальцами грубую траву и мелкие колючки репейника; а Шарль, опустив руки, дожидался, пока она покончит с этим делом. Дядюшка Руо, в новом цилиндре и черном фраке с рукавами до самых ногтей, вел под руку г-жу Бовари-мать. А г-н Бовари-отец, презирая в глубине души всю эту компанию, явился в простом однобортном сюртуке военного покроя и теперь расточал кабацкие любезности какой-то белокурой крестьяночке. Она приседала, краснела, не знала, что отвечать. Остальные гости разговаривали о своих делах или подшучивали исподтишка, заранее возбуждая себя к веселью; насторожив ухо, можно было расслышать в поле пиликанье музыканта, который все играл да играл. Заметив, что свадебный кортеж от него отстает, он останавливался

перевести дух, долго натирал смычок канифолью, чтобы громче визжали струны, и снова пускался в путь, сам себе отбивая такт движениями грифа. От звуков его инструмента вдали взлетали птички.

Стол накрыли во дворе, под навесом для телег. На столе красовались четыре филе, шесть куриных фрикасе, тушенная телятина и три жарких, а по самой середине — великолепный жареный поросенок, обложенный печеночной колбасой со щавелевым гарниром. По углам возвышались графины с водкой. Сладкий сидр, разлитый по бутылкам, окаймлял пробки густой пеной, а все стаканы были заранее до краев наполнены вином. Желтый крем на огромных блюдах дрожал при малейшем толчке, на его гладкой поверхности красовались узорные инициалы новобрачных. Торты и нугу делал кондитер, выписанный из Ивето. Так как в этой местности ему приходилось выступать впервые, он старался как только мог и к десерту самолично подал такой фигурный пирог, что все ахнули. У основания его находился синий картонный квадрат, а на нем целый храм с портиками и колоннадой; в нишах, усыпанных звездами из золотой бумаги, стояли гипсовые статуэтки; выше, на втором этаже — савойский пирог в виде сторожевой башни, окруженной мелкими укреплениями из цуката, миндаля, изюма и апельсиновых долек; и, наконец, на верхней

площадке — скалы, озера из варенья, кораблики из ореховых скорлупок и зеленый луг, где маленький амур качался на шоколадных качелях, у которых столбы кончались вместо шаров бутонами живых роз.

Ели до самого вечера. Устав сидеть, гости уходили во двор погулять или на гумно поиграть в пробку, а потом снова возвращались к столу. К концу обеда многие уснули и захрапели. Но за кофе все опять оживилось; тогда начались песни; мужчины стали хвастаться силой, таскали гири, пробовали поднять на плечах телегу, показывали фокусы, отпускали крепкие шутки, обнимали дам. Вечером, когда нужно было уезжать, раздувшиеся от овса лошади еле влезали в оглобли, брыкались, становились на дыбы, рвали упряжь; а хозяева ругались или хохотали. И всю ночь по всем дорогам округи мчались галопом при лунном свете обезумевшие повозки; они сваливались в канавы, перемахивали через кучи булыжника, застревали на подъемах, и женщины, высовываясь из них, подхватывали упущенные вожжи. Оставшиеся в Берто провели ночь на кухне за вином. Дети уснули под лавками.

Невеста упросила отца, чтобы ее избавили от обычных шуток. Правда, один из родственников, торговавший морской рыбой (он даже привез в качестве свадебного подарка две камбалы),

попробовал было прыснуть в замочную скважину водой, но дядюшка Руо успел вовремя остановить его и объяснить, что такие непристойности несовместимы с солидным общественным положением зятя. Однако родственник нелегко поддался на его уговоры. Сочтя в глубине души, что дядюшка загордился, он тут же отошел в уголок, к четырем-пяти гостям, которым случайно попались за столом плохие куски, и потому они считали, что их нехорошо принимают, перешептывались насчет хозяина и обиняком желали ему разориться.

Г-жа Бовари-мать весь день не разжимала губ. С ней не посоветовались ни о туалете невесты, ни о распорядке празднества; она уехала очень рано. Супруг ее не последовал за нею, он послал в Сен-Виктор за сигарами и до самого утра курил, попивая грог с киршвассером — напиток, до тех пор неизвестный в здешних краях и потому явившийся для него как бы источником еще большего престижа.

Шарль не отличался остроумием и за ужином далеко не блистал. На все шуточки, каламбуры, двусмысленности, поздравления и лукавые словечки, которыми его засыпали с первого же блюда, он отвечал довольно плоско.

Но зато с утра он стал другим человеком. Казалось, что он только вчера познал любовь;

новобрачная ничем не выдавала себя; глядя на нее, нельзя было ни о чем догадаться. Самые лукавые остряки не знали, что сказать, и, когда она проходила мимо них, только поглядывали да тужились от непосильного умственного напряжения. Но Шарль не скрывал ничего. Он называл Эмму своей женой, говорил ей «ты», у всех спрашивал, как она им нравится, разыскивал ее повсюду и часто уводил ее в сад; и гости видели из-за деревьев, как он на ходу обнимает молодую за талию и, склоняясь к ней, мнет головой кружевную отделку корсажа.

Через два дня после свадьбы молодые уехали: Шарлю нужно было заняться пациентами, больше задерживаться он не мог. Дядюшка Руо дал им свою повозку и сам проводил их до Вассонвиля. Там он в последний раз поцеловал дочь и пошел домой. Сделав сотню шагов, он остановился и, видя, как вертятся в пыли колеса уезжающей повозки, глубоко вздохнул. Вспомнил он свою собственную свадьбу, былые времена, первую беременность жены. Да, он тоже был очень весел в тот день, когда увозил ее к себе из отцовского дома, когда она сидела за его седлом и конь трусил по глубокому снегу: дело ведь шло к рождеству, поля вокруг были белые; она одной рукой держалась за него, а в другой у нее была корзинка; ветер играл длинными кружевами нормандского чепчика, они

иногда закрывали ей рот, и, оборачиваясь, он всякий раз видел у себя на плече, совсем рядом, розовое личико, молча улыбающееся под золотой пластинкой чепца. Время от времени она грела пальцы у него за пазухой. Как давно все это было! Теперь их сыну уже исполнилось бы тридцать лет!.. Он снова обернулся, но ничего не увидел на дороге. Старик приуныл, как опустелый дом; в отуманенной винными парами голове к приятным воспоминаниям примешались мрачные мысли, и ему захотелось пройти в сторону церкви. Но, испугавшись, как бы от этого не стало еще грустнее, он пошел прямо домой.

Г-н и г-жа Бовари приехали в Тост около шести часов. Все соседи бросились к окнам посмотреть на новую докторшу.

Старуха служанка поздоровалась с барыней, поздравила ее, извинилась, что обед еще не готов, и предложила пока что осмотреть дом.

V

Кирпичный фасад тянулся как раз вдоль улицы или, вернее, дороги. За дверью на стенке висел плащ с узеньким воротником, уздечка и черная кожаная фуражка, а в углу валялась пара краг, еще покрытых засохшей грязью. Направо была зала, то есть комната, где обедали и сидели по

вечерам. Канареечного цвета обои с выцветшим бордюром в виде цветочной гирлянды дрожали на плохо натянутой холщовой подкладке. Белые коленкоровые занавески с красной каймой скрещивались на окнах, а на узкой полочке камина, между двумя подсвечниками накладного серебра с овальными абажурами, блестели стоячие часы с головой Гиппократата. По другую сторону коридора помещался кабинет Шарля — комната шагов в шесть шириной, где стояли стол, три стула и рабочее кресло. На шести полках елового книжного шкафа не было почти ничего, кроме «Словаря медицинских наук», неразрезанные томы которого совсем истрепались, бесконечно перепродаваясь из рук в руки. Здесь больные вдыхали проникавший из-за стены запах подливки, а в кухне было слышно, как они кашляют и рассказывают о своих недугах. Дальше следовала большая, совершенно запущенная комната с очагом; окна ее выходили во двор, на конюшню. Теперь она служила и дровяным сараем, и кладовой, и чуланом для всякого старья: повсюду валялось ржавое железо, пустые бочонки, поломанные садовые инструменты и еще какие-то запыленные вещи непонятного назначения.

Сад вытянулся в длину между двумя глинобитными стенами, — их прикрывали шпалеры абрикосов, — до живой изгороди из колючего терновника; дальше начинались поля. По самой

середине, на каменном постаменте, виднелся аспидный циферблат солнечных часов; четыре клумбы чахлого шиповника симметрично окружали участок более полезных насаждений. В глубине, под пихтами, читал молитвенник гипсовый кюре.

Эмма поднялась в жилые комнаты. В первой не было никакой мебели, но во второй, то есть в супружеской спальне, стояла в алькове кровать красного дерева с красным же пологом. На комодѣ красовалась отделанная раковинами шкатулка, у окна на секретере стоял в графине букет флердоранжа, перевязанный белыми атласными лентами. То был свадебный букет, — букет первой жены! Эмма взглянула на него. Шарль заметил это и унес цветы на чердак. А в это время молодая, сидя в кресле (рядом раскладывали ее вещи), думала о своем свадебном букете, уложенном в картонку, и спрашивала себя, что с ним сделают, если вдруг умрет и она.

С первых же дней она затеяла в доме переделки. Сняла с подсвечников абажуры, оклеила комнаты новыми обоями, перекрасила лестницу, а в саду, вокруг солнечных часов, поставила скамейки; она даже расспрашивала, как устроить бассейн с фонтаном и рыбками. Наконец муж, зная, что она любит кататься, раздобыл по случаю двухместный *шарабанчик*, — благодаря новым фонарям и

крыльям из строченой кожи он мог сойти за тильбюри.

Шарль был счастлив и ни о чем на свете не тревожился. Обед вдвоем, вечерняя прогулка по большой дороге, движение руки, которым Эмма поправляла прическу, ее соломенная шляпа, висящая на шпингалете окна, тысячи других мелочей, в которых он ранее не предполагал ничего приятного, — все это теперь было для него источником непрерывного блаженства. Утром, лежа в постели рядом с Эммой, он глядел, как солнечный луч пронизывает пушок на ее бело-розовых щеках, полуприкрытых гофрированными фестонами чепчика. На таком близком расстоянии глаза Эммы казались еще больше, особенно когда она, просыпаясь, по нескольку раз открывала и снова закрывала их; черные в тени и темно-синие при ярком свете, глаза ее как будто слагались из многих цветовых слоев, густых в глубине и все светлевших к поверхности радужной оболочки. Взгляд Шарля терялся в этих глубинах, он видел там самого себя, только в уменьшенном виде, — видел до самых плеч, с фуляровым платком на голове, с расстегнутым воротом рубашки. Он вставал. Эмма подходила к окну взглянуть, как он уезжает; она долго стояла, облокотившись на подоконник между двумя горшками герани, и пеньюар свободно облегал ее стан. Выйдя на улицу, Шарль на тумбе

пристегивал шпоры; Эмма говорила с ним сверху, покусывая цветочный лепесток или травинку, а потом сдувала ее вниз к нему, и травинка медленно, задерживаясь, описывая в воздухе круги, словно птица, опускалась на улицу, цепляясь за лохматую гриву старой белой кобылы, неподвижно стоявшей у порога, и только потом падала на землю. Шарль вскакивал в седло, посылал Эмме поцелуй, она отвечала ему кивком, закрывала окно; он трогался в путь. И он ехал по большой дороге, растянувшейся бесконечной пыльной лентой, по наезженным проселкам, затененным арками древесных ветвей, по межам, где хлеба колыхались у его колен, — и солнце играло на его спине, утренний воздух вливался в его ноздри, а сердце его было полно радостями истекшей ночи. Покойный духом, довольный телом, он переживал в душе свое счастье, как иногда после обеда человек еще смакует вкус съеденных трюфелей.

Что хорошего он знал в жизни до сих пор? Школьные ли годы, когда он сидел взаперти в высоких стенах коллежа и всегда был одинок среди более богатых или более способных товарищей, смеявшихся над его говором, издевавшихся над его одеждой, среди товарищей, к которым в приемную приходили матери и тайком приносили в муфтах пирожные? Или позже, когда он был студентом-медиком и безденежье не позволяло ему

даже заказать музыкантам контраданс для какой-нибудь девушки-работницы, которая могла бы стать его подружкой? А потом он целых четырнадцать месяцев прожил с вдовой, у которой в постели ноги были холодные, как ледышки. Теперь же он на всю жизнь завладел очаровательной женщиной, которую обожал. Весь мир для него ограничивался шелковистым кругом ее юбок; он упрекал себя, что не любит ее, ему хотелось увидеть ее вновь; он очень скоро возвращался домой, с бьющимся сердцем взбегал по лестнице. Эмма сидела в своей комнате за туалетом; он входил на цыпочках, целовал ее в спину, она вскрикивала.

Он не мог удержаться, чтобы не трогать ежесекундно ее гребня, колец, косынки; он то крепко и звонко целовал ее в щеки, то легонько пробегал губами по всей ее голой руке, от пальцев до плеча; а она, улыбаясь и слегка досадуя, отталкивала его, как отгоняют надоевшего ребенка.

До свадьбы ей казалось, что она любит; но любовь должна давать счастье, а счастья не было: значит, она ошиблась. И Эмма пыталась понять, что, собственно, означают в жизни те слова *о блаженстве, о страсти, об опьянении*, которые казались ей такими прекрасными в книгах.

В детстве она читала «Павла и Виргинию» и мечтала о бамбуковом домике, о негре Доминго, о собаке Фидель, но больше всего о нежной дружбе доброго братца, который рвал бы для нее красные плоды с огромных, выше колокольни, деревьев или бежал бы к ней босиком по песку, неся в руках птичье гнездо.

Когда ей было тринадцать лет, отец сам отвез ее в город и отдал в монастырь. Они остановились в квартале Сен-Жерве, на постоялом дворе; за ужином им подали разрисованные тарелки со сценами из жизни мадмуазель де ла Вальер. Исцарапанные ножами и вилками затейливые надписи прославляли религию, тонкость чувств и придворную пышность.

В первое время она в монастыре не скучала, — ей нравилось общество монахинь. Чтобы поразвлечь девочку, они водили ее в часовню, куда проходили из трапезной длинным коридором. Эмма мало играла на переменах и хорошо разбиралась в катехизисе; когда господин викарий задавал трудные вопросы, отвечала всегда она. Безвыходно живя в тепличной атмосфере классов, в кругу бледных женщин, перебивавших четки с медными крестиками, она тихо дремала в мистической томности, навеваемой церковными благовониями, прохладой святой воды, сиянием

свечей. За обедней, вместо того чтобы вслушиваться в молитвенные слова, она разглядывала в своей книжке благочестивые картинки в голубых рамках; ей нравились и больная овечка, и сердце Христово, пронзенное острыми стрелами, и бедный Иисус, падающий под тяжестью креста. Умерщвляя плоть, она однажды попробовала целый день ничего не есть. Она придумывала, какой бы ей дать обет.

Когда надо было идти на исповедь, она нарочно уличала себя в мелких грешках, чтобы подольше постоять на коленях, сложив руки, прижавшись лицом к решетке, и слушать в тени шепот священника. Так часто повторяющиеся в проповедях слова: невеста, супруг, небесный возлюбленный, вечный брачный союз — будили в глубине ее души какую-то неведомую раньше нежность.

По вечерам, перед молитвой, в комнате для занятий читали вслух душеспасительные книги: по будням — краткие изложения священной истории или «Чтения» аббата Фрейсину, а по воскресеньям, для разнообразия, отрывки из «Духа христианства». С каким вниманием слушала она вначале эти сетования романтической меланхолии, звучащей всеми отгулами земли и вечности! Если бы детство ее протекло где-нибудь в торговом квартале — в комнатах позади лавки, ее душа, быть может,

открылась бы лирическим восторгам перед поэзией природы, которую мы обычно воспринимаем впервые только через слово писателя. Но она слишком долго жила в деревне: ей знакомы были бляенье стада, вкус парного молока, плуги. Привыкнув к мирным картинам, она, по контрасту, тянулась к бурным явлениям. Море нравилось ей только в шторм, трава — только среди руин. Из всего ей надо было извлечь как бы личную пользу, а то, что не давало непосредственной пищи сердцу, она отбрасывала как ненужное: натура у нее была не столько художественная, сколько чувствительная, ее увлекали не пейзажи, а эмоции.

Каждый месяц в монастырь приходила на неделю и работала в белье одна старая дева. Ей покровительствовал архиепископ, так как она была из старинного дворянского рода, разорившегося в Революцию; поэтому она ела за одним столом с монахинями, а после обеда, прежде чем взяться за шитье, оставалась с ними поболтать. Пансионерки нередко убегали к ней с уроков. Она знала много любовных песенок минувшего столетия и за работой постоянно напевала их вполголоса. Она рассказывала разные истории и новости, выполняла в городе всякие поручения и потихоньку снабжала старших учениц романами, которые всегда носила в карманах своего передника. Во время перерывов в работе старушка и сама глотала их целыми главами.

Там только и было, что любовь, любовники, любовницы, преследуемые дамы, падающие без чувств в уединенных беседках, почтальоны, которых убивают на всех станциях, лошади, которых загоняют на каждой странице, темные леса, сердечное смятение, клятвы, рыдания, слезы и поцелуи, челноки при лунном свете, соловьи в рощах, *кавалеры*, храбрые, как львы, и кроткие, как ягнята, добродетельные сверх всякой меры, всегда красиво одетые и проливающие слезы, как урны. В пятнадцать лет Эмма целых полгода рылась в этой пыли старых библиотек. Позже ее увлек своим историческим реквизитом Вальтер Скотт, она стала мечтать о парапетах, сводчатых залах и менестрелях. Ей хотелось жить в каком-нибудь старом замке, подобно тем дамам в длинных корсажах, которые проводили свои дни в высоких стрельчатых покоях и, облокотясь на каменный подоконник, подпирая щеку рукой, глядели, как по полю скачет на вороном коне рыцарь с белым плюмажем. В те времена она поклонялась Марии Стюарт и восторженно обожала всех женщин, прославившихся своими подвигами или несчастиями. Жанна д'Арк, Элоиза, Агнесса Сорель, Прекрасная Ферроньера и Клеманс Изор сверкали перед ее глазами, подобно кометам, в безбрежном мраке истории, где, кроме них, местами выступали менее яркие, никак друг с

другом не связанные образы: Людовик Святой под дубом, умирающий Баярд, какие-то жестокости Людовика XI, отдельные моменты Варфоломеевской ночи, султан на шляпе Беарнца и неизгладимое воспоминание о расписных тарелках, восхваляющих Людовика XIV.

На уроках музыки она пела романсы, где только и говорилось, что об ангелочках с золотыми крылышками, о мадоннах, лагунах и гондольерах, — безобидные композиции, в которых сквозь наивность стиля и нелепость гармонии просвечивала привлекательная фантазмагория чувствительной реальности. Подруги Эммы иногда приносили в монастырь кипсеки, полученные в подарок на Новый год. То было целое событие, их приходилось прятать и читать только в дортуарах. Осторожно касаясь замечательных атласных переплетов, Эмма останавливала свой восхищенный взгляд на красовавшихся под стихами именах неведомых авторов — все больше графов и виконтов.

Она трепетала, когда от ее дыхания над гравюрой приподнималась дугою и потом снова тихонько опадала шелковистая папиросная бумага. Там, за балюстрадами балконов, юноши в коротких плащах сжимали в объятиях девушек в белом, с кошелечками у пояса; там были анонимные портреты английских леди в белокурых локонах, —

огромными ясными глазами глядели они на вас из-под круглых соломенных шляп. Одни полулежали в колясках, скользивших по парку, и борзая делала прыжки перед лошадьми, которыми правили два маленьких грума в белых рейтузах. Другие мечтательно лежали на оттоманках, держа в руке распечатанное письмо, и созерцали луну в приоткрытое окно, затененное темным занавесом. Наивные красавицы, роняя слезы, целовались с горlinkами сквозь прутья готических клеток или, улыбаясь и склонив голову к плечу, ошипывали маргаритки заостренными кончиками пальцев, загнутыми, как средневековые туфли. И вы тоже были там, султаны с длинными чубуками, вы нежились в беседках, обнимая баядерок, и вы, гяуры, турки, ятаганы, фески; и прежде всего вы, бледные пейзажи дифирамбических стран, где часто в одной рамке можно видеть и пальмовые рощи, и ели, направо — тигра, а налево — льва, на горизонте — татарские минареты, а на первом плане — римские руины, близ которых лежат на земле навьюченные верблюды, — и все вместе окаймлено чисто подметенным лесом; широкий вертикальный солнечный луч трепещет в воде, а на темно-стальном ее фоне белыми прорезями вырисовываются плавающие лебеди.

И кинкетка с абажуром, висевшая на стене над головою Эммы, освещала все эти картины мира,

вереницею проходившие перед девушкой в тишине дортуара, под далекий стук запоздалой пролетки, еще катившейся где-то там, по улицам.

Когда у Эммы умерла мать, она в первые дни очень много плакала. Она заказала для волос покойницы траурную рамку и написала отцу письмо, переполненное грустными размышлениями о жизни. В этом письме она просила похоронить ее в одной могиле с матерью. Простак решил, что дочь захворала, и приехал ее навестить. Эмма в глубине души была очень довольна, что сразу поднялась до того изысканного идеала безрадостного существования, который навсегда остается недостижимым для посредственных сердец. И вот она соскользнула к ламартиновским причудам, стала слышать арфы на озерах, лебединые песни, шорох падающих листьев, дыхание чистых дев, возносящихся в небеса, голос предвечного, звучащий в долинах. Все это ей наскучило, но она не хотела в том признаться, продолжала тосковать — сперва по привычке, затем из самолюбия — и, наконец, с изумлением почувствовала себя успокоенною; горя в сердце у нее осталось не больше, чем морщин на лбу.

Добрые монашенки, так хорошо предугадавшие ее призвание, с величайшим удивлением заметили, что мадмуазель Руо как будто уходит из-под их опеки. В самом деле, они

столько расточали ей церковных служб, отречений от мира, молитв и увещаний, так настойчиво проповедовали ей почтение к святым и мученикам, надавали ей столько добрых советов, полезных для смирения плоти и спасения души, что в конце концов она уподобилась лошади, которую тянут вперед за узду; она осадилась на месте, и удила выскочили из зубов. Положительная в душе, несмотря на все восторги, любившая церковь за цветы, музыку — за слова романсов, литературу — за страстное волнение, она восстала против таинств веры, и в ней самой росло возмущение против дисциплины, глубоко противной всему ее духовному складу. Когда отец взял ее из пансиона, о ней не пожалели. Настоятельница даже находила, что в последнее время она была недостаточно почтительна к общине.

Вернувшись домой, Эмма с удовольствием начала командовать слугами; но скоро деревня надоела ей, и она стала скучать по монастырю. Когда Шарль впервые приехал в Берто, она считала себя глубоко разочарованным существом, которое уже ничему новому не может научиться и никаких чувств не в силах испытать.

Но достаточно было беспокойства, вызванного переменой в образе жизни, а может быть, и нервного возбуждения от присутствия молодого человека, и она поверила, будто к ней

снизошла, наконец, та чудесная страсть, которая до сих пор только парила в блеске поэтических небес, подобно огромной птице в розовом оперении; и теперь она никак не могла представить себе, что невозмутимая тишина, ее окружавшая, могла быть тем самым счастьем, о котором она мечтала.

VII

Иногда она вспоминала, что ведь это все-таки прекраснейшие дни ее жизни, — как говорится, медовый месяц. Но, вероятно, чтобы ощутить всю их прелесть, надо было уехать в те края с звучными названиями, где в такой сладостной лени протекают первые брачные дни! Ехать шагом по крутым дорогам в почтовой карете с синими шелковыми шторами, слушать песню почтальона, пробуждающую эхо в горах, сливающуюся с бубенчиками коз и глухим шумом водопада. На закате солнца вдыхать на берегу залива запах лимонных деревьев; а позже, вечером, сидеть на террасе виллы вдвоем, рука об руку, глядеть на звезды и мечтать о будущем! Эмме казалось, будто в некоторых уголках земли счастье возникает само собою, подобно тому как иные растения требуют известной почвы, плохо принимаясь во всякой другой. Почему не могла она облокотиться на перила балкона швейцарского домика или

заклЮчить свою печаль в шотландском коттедже, укрыться там вместе с мужем, и чтобы на нем был черный бархатный фрак с длинными фалдами, мягкие сапожки, остроконечная шляпа и кружевные манжеты!

Быть может, ей хотелось кому-нибудь об этом поведать. Но как передать неуловимое томление, вечно меняющее свой вид подобно облакам, проносящееся подобно ветру? У нее не было ни слов, ни случая, ни смелости.

И все же, если бы Шарль захотел, если бы он догадался, если бы хоть раз его взгляд ответил на ее мысль, — ей казалось, сердце ее сразу прорвалось бы внезапной щедростью, как осыпаются все плоды с фруктового дерева, когда его потрянут рукой. Но чем теснее срастались обе их жизни, тем глубже было внутреннее отчуждение Эммы.

Разговоры Шарля были плоски, как уличная панель, общие места вереницей тянулись в них в обычных своих нарядах, не вызывая ни волнения, ни смеха, ни мечтаний. Он сам вспоминал, что, когда жил в Руане, ни разу не полюбопытствовал зайти в театр, поглядеть парижских актеров. Он не умел ни плавать, ни фехтовать, ни стрелять из пистолета, и, когда однажды Эмма натолкнулась в романе на непонятное слово, относившееся к верховой езде, он не мог объяснить его значение.

А между тем разве мужчина не должен знать всего, отличаться во всех видах человеческой деятельности, посвящать свою подругу во все порывы страсти, во все тонкости и тайны жизни? Но он ничему не учил, ничего не знал, ничего не желал. Он считал Эмму счастливой! И ее раздражало его благодушное спокойствие, его грузная безмятежность и даже счастье, которое она дарила ему.

Иногда Эмма рисовала. Для Шарля было величайшим удовольствием стоять возле нее и смотреть, как она наклоняется к бумаге и, шурясь, вглядывается в свою работу или раскатывает на большом пальце хлебные шарики. Что же касается игры на фортепиано, то чем быстрее бегали ее пальцы, тем больше восторгался Шарль. Эмма с апломбом барабанила по клавишам, без остановки пробегала сверху вниз всю клавиатуру. Старый инструмент с дребезжащими струнами гремел в открытое окно на всю деревню, и часто писарь судебного пристава, проходя по дороге без шапки, в шлепанцах, с листом в руках, останавливался послушать.

Кроме того, Эмма умела вести хозяйство. Больным она посылала счета за визиты в форме хорошо написанных писем, несколько не похожих на конторский документ. По воскресеньям, когда к обеду приходил какой-нибудь сосед, она всегда

умела придумать для него тонкое блюдо; ренклоды она с большим вкусом укладывала пирамидками на виноградных листьях, варенье у нее подавалось на тарелочках; она даже поговаривала, что надо приобрести прибор для полоскания рта после десерта. Все это поддерживало престиж Бовари.

В конце концов Шарль и сам стал уважать себя за то, что у него такая жена. Он с гордостью показывал гостям два ее карандашных наброска, которые, по его заказу, были вставлены в широкие рамы и висели в зале на длинных зеленых шнурах. Расходясь от обедни, люди видели его на пороге дома, в прекрасных ковровых туфлях.

С работы он возвращался поздно — в десять, а иногда и в двенадцать часов. Он просил есть, и так как служанка уже спала, то подавала ему сама Эмма. Он снимал сюртук и начинал обедать в свое удовольствие. Переберет всех людей, с какими встретился, все деревни, в каких побывал, все рецепты, какие прописал, и, довольный сам собой, доест остатки жаркого, поковыряет сыр, погрызет яблоко, прикончит графин вина. А потом уйдет в спальню, ляжет на спину и захрапит.

Так как он издавна привык к ночному колпаку, то фуляровый платок сползал у него с головы, и по утрам растрепанные волосы, все в пуху от развязавшейся ночью подушки, лезли ему в глаза. Он всегда ходил в высоких сапогах с

глубокими косыми складками на подъеме и совершенно прямыми, как будто деревянными, головками. *В деревне и так сойдет*, — говорил он.

Мать хвалила его за такую бережливость; она по-прежнему приезжала в Тост всякий раз, как у нее случалась слишком крепкая схватка с мужем; но г-жа Бовари-мать, казалось, была предубеждена против своей невестки. Она находила, что у Эммы *замашки не по средствам*: дрова, сахар и свечи *тают, как в лучших домах*, а на кухне всякий день жгут столько угля, что хватило бы на двадцать пять блюд! Она раскладывала белье в шкафах и учила Эмму следить за мясником, когда тот приносил провизию.

Эмма выслушивала поучения, свекровь на них не скупилась, и целый день в доме слышались слова: *дочка, маменька*; они произносили их, слегка поджимая губы. Обе говорили нежности, а голос у них дрожал от злобы.

При жизни г-жи Дюбюк старуха чувствовала себя первой в сердце сына; но любовь Шарля к Эмме казалась ей настоящей изменой, — у нее похитили ту нежность, что принадлежала ей по праву, и она в горестном молчании наблюдала счастье сына, как разорившийся богач заглядывает с улицы в окна некогда принадлежавшего ему дома и замечает за столом чужих людей. Под видом рассказов о старине она напоминала Шарлю о

своих страданиях и жертвах и, сравнивая их с невниманием Эммы, всегда в заключение говорила, что ему вовсе не следовало бы так обожать жену.

Шарль не знал, что отвечать: он почитал мать и бесконечно любил жену. Суждения г-жи Бовари он считал непогрешимыми, а Эмму находил безупречной. Когда старуха уезжала, он робко пытался повторить жене какое-нибудь из самых безобидных ее замечаний в тех же выражениях, что и мамаша; но Эмма в двух словах доказывала ему, что он говорит пустяки, и отсылала его к больным.

И все-таки она, повинувшись теориям, которые считала правильными, хотела внушить себе любовь к мужу. В саду, при луне, она читала ему все страстные стихи, какие только знала наизусть; она со вздохами пела ему грустные адажио. Но после этого она чувствовала себя так же спокойно, как и всегда, да и Шарль не казался ни влюбленным, ни взволнованным больше обычного.

Наконец Эмма устала тщетно высекать искры огня из своего сердца, и, кроме того, она была неспособна понять то, чего не испытывала сама, поверить тому, что не выражалось в условных формах. И она без труда убедила себя, что в страсти Шарля нет ничего особенного. Порывы его приобрели регулярность: он обнимал ее в определенные часы. То было как бы привычкой среди других привычек, чем-то вроде десерта, о

котором знаешь заранее, сидя за монотонным обедом.

Лесник, которого господин доктор вылечил от воспаления легких, преподнес госпоже докторше борзого щенка; Эмма брала его с собой на прогулки; иногда она уходила из дому, чтобы на минутку побыть одной и не видеть этого вечного сада и пыльной дороги.

Она добиралась до Банвильской буковой рощи, где со стороны поля, углом к ограде, стоял заброшенный домик. Там, во рву среди трав, рос высокий тростник с острыми листьями.

Прежде всего Эмма оглядывалась кругом — смотрела, не изменилось ли что-нибудь с тех пор, как она приходила сюда в последний раз. Все было по-старому: наперстянка, левкой, крупные булыжники, поросшие крапивой, пятна лишая вдоль трех окон, всегда запертые ставни, которые понемногу гнили и крошились за железными ржавыми брусьями. Мысли Эммы сначала были беспредметны, цеплялись за случайное, подобно ее борзой, которая бегала кругами по полю, тьякала вслед желтым бабочкам, гонялась за землеройками или покусывала маки по краю пшеничного поля. Потом думы понемногу прояснились, и, сидя на земле, Эмма повторяла, тихонько вороша траву зонтиком:

— Боже мой! Зачем я вышла замуж!

Она задавала себе вопрос, не могла ли она при каком-либо ином стечении обстоятельств встретить другого человека; она пыталась вообразить, каковы были бы эти несовершившиеся события, эта совсем иная жизнь, этот неизвестный муж. В самом деле, не все же такие, как Шарль! Он мог бы быть красив, умен, изыскан, привлекателен, — и, наверно, такими были те люди, за которых вышли подруги по монастырю. Что-то они теперь делают? Все, конечно, в городе, в уличном шуме, в гуле театров, в блеске бальных зал, — все живут жизнью, от которой ликует сердце и расцветают чувства. А она? Существование ее холодно, как чердак, выходящий окошком на север, и скука, молчаливый паук, плетет в тени свою сеть по всем уголкам ее сердца. Ей вспоминалось, как в былые дни, при раздаче наград, она всходила на эстраду получить свой веночек. В белом платье и открытых прюнелевых туфельках, со своей длинной косой, она была очень мила; когда она возвращалась на место, важные господа наклонялись к ней и говорили комплименты. Двор был переполнен каретами, подруги прощались с ней, выглядывая из дверцы; проходил, кланяясь, учитель музыки со скрипкой в футляре. Как давно все это было! Как давно!

Она подзывала Джали, клала ее мордочку к себе на колени, гладила длинную узкую голову собаки и говорила:

— Ну, поцелуй свою хозяйку. У тебя ведь нет горестей...

А потом, глядя в печальные глаза протяжно зевающей стройной борзой, Эмма умилялась и, приравнивая собаку к себе, говорила с ней вслух, словно утешала опечаленного человека. Иной раз налетал порыв ветра, морской шквал. Проносясь по всей Кошской равнине, он заносил свою соленую свежесть в самые дальние уголки полей. Свистел, пригибаясь к самой земле, тростник; в быстром трепете шелестела листва буков, и верхушки их раскачивались, непрерывно и громко шумя. Эмма плотнее закутывалась в шаль и вставала.

В аллее слабый и зеленый от листьев свет падал на ровный мох, тихо хрустевший под ногами. Солнце садилось; между ветвей было видно багровое небо, и ровные стволы посаженных по прямой линии деревьев вырисовывались на зеленом фоне темно-коричневой колоннадой. Эмме становилось страшно, она подзывала Джали, поспешно возвращалась по большой дороге в Тост, бросалась в кресло и весь вечер молчала.

Но в конце сентября в ее жизнь ворвалось нечто необычайное: она получила приглашение в Вобьессар, к маркизу д'Андервилье.

Во время Реставрации маркиз был статс-секретарем и теперь, собираясь вернуться к политической деятельности, задолго вперед готовил свою кандидатуру в палату депутатов. Зимой он щедро снабжал бедняков хворостом, а выступая в генеральном совете, всегда с большим пафосом требовал для округа новых дорог. В самые жаркие дни лета у него сделался во рту нарыв, и Шарль каким-то чудом вылечил больного, вовремя пустив в ход ланцет. Вечером управляющий, который был послан в Тост уплатить за операцию, рассказал, что видел в докторском саду превосходные вишни. А так как в Вобьессаре вишневые деревья принимались плохо, маркиз попросил у Бовари несколько черенков, потом счел своим долгом поблагодарить его лично, увидел Эмму и нашел, что она отлично сложена и приседает далеко не по-крестьянски; и вот в замке решили, что пригласить молодую чету на праздник не будет ни чрезмерной снисходительностью, ни особой неловкостью.

Однажды, в среду, в три часа дня, г-н и г-жа Бовари уселись в свой *шарабанчик* и отправились в Вобьессар, взяв с собой большой чемодан — он был привязан к кузову сзади, и шляпную коробку — ее поставили перед фартуком; кроме того, в ногах у Шарля пристроили картонку.

Приехали они под вечер, когда в парке уже зажигали плошки, чтобы осветить дорогу экипажам.

VIII

Замок — современная постройка в итальянском стиле с двумя выступающими флигелями и тремя подъездами — тянулся вдоль нижнего края огромного луга, по которому среди разбросанных местами высоких деревьев бродило несколько коров; заросли рододендронов, жасмина и калины густыми купами разноцветной зелени топорщились вдоль усыпанной песком закругленной дороги. Под мостом протекала река; на лужайке, переходившей с двух сторон в пологие лесистые холмы, виднелись сквозь туман крытые соломой дома, а позади, в гуще кустов, двумя параллельными рядами стояли службы и конюшни, оставшиеся от разрушенного старого замка.

Шарабанчик Шарля остановился перед средним подъездом. Появились слуги, вышел маркиз и, предложив жене доктора руку, ввел ее в вестибюль.

Здесь был мраморный пол; шаги и голоса отдавались под высоким потолком, словно в церкви. Впереди поднималась прямая лестница, а слева галерея, выходящая окнами в сад, вела в

бильярдную, откуда доносилось щелканье костяных шаров. Проходя через эту комнату в гостиную, Эмма увидела за игрой несколько важных мужчин, утопавших подбородками в высоких галстуках. Все они были в орденах, все улыбались, молча действующими. На темном дереве панели, под широкими золотыми рамами, выделялись черные надписи. Эмма читала:

«Жан-Антуан д'Андервилье д'Ивербонвиль, граф де ла Вобьессар и барон де ла Френей, пал в сражении при Кутра 20 октября 1587 года», а под другим: «Жан-Антуан-Анри-Ги д'Андервилье де ла Вобьессар, адмирал Франции и кавалер ордена св. Михаила, ранен в бою при Гуг-Сен-Вааст 29 мая 1692 года, скончался 23 января 1693 года в Вобьессаре». Остальные портреты трудно было разглядеть: свет от лампы ложился прямо на зеленое сукно бильярда, а вся комната оставалась в полумраке. Наводя темный лоск на развешанные в ряд полотна, отблески огня тонкими усиками разбегались по трещинам лака, и на больших черных прямоугольниках, обрамленных золотом, только кое-где выступали выхваченные светом части картины — то бледный лоб, то два в упор смотрящих глаза, то рассыпавшийся по запудренным плечам красного кафтана парик, то пряжка подвязки над выпуклой икрой.

Маркиз открыл дверь в гостиную. Одна из дам — сама маркиза — встала, пошла навстречу Эмме, усадила ее рядом с собою на козетку и заговорила дружески, словно со старой знакомой. То была женщина лет сорока, с очень красивыми плечами, орлиным носом и тягучим голосом. В тот вечер на ее каштановые волосы была накинута простая гипюровая косынка, спускавшаяся сзади треугольником. Рядом, на стуле с высокой спинкой, сидела белокурая молодая особа; какие-то господа во фраках, с цветком в петлице, разговаривали у камина с дамами.

В семь часов подали обед. Мужчины — их было больше — уселись за одним столом, в вестибюле, а дамы — за другим, в столовой, с маркизом и маркизой.

Когда Эмма вошла туда, ее охватил теплый воздух, пропитанный смешанным запахом цветов, прекрасного белья, жаркого и трюфелей. Огни канделябров играли на серебряных крышках; поблескивал затуманенный матовым налетом граненый хрусталь; вдоль всего стола строем тянулись букеты, и на тарелках с широким бордюром, в раструбах салфеток, сложенных наподобие епископской митры, лежали овальные булочки. Красные клешни омаров свешивались с краев блюд; в ажурных корзинах громоздились на мху крупные фрукты; перепела были поданы в

перьях, пар поднимался над столом, и важный, как судья, метрдотель в шелковых чулках, коротких штанах, в белом галстуке и жабо подавал гостям блюда с уже нарезанными кушаньями и одним движением ложки сбрасывал на тарелку тот кусок, на который ему указывали. С высокой фаянсовой печи, отделанной медью, неподвижно глядела на комнату, полную гостей, фигура женщины, задрапированной до самого подбородка.

Г-жа Бовари заметила, что многие дамы не положили своих перчаток в стаканы.

А на верхнем конце стола одиноко сидел среди всех этих женщин старик, повязанный салфеткой, как ребенок. Нагнувшись над полной тарелкой, он ел, а соус капал с его губ. Глаза у него были в красных жилках, сзади висела косичка с черной ленточкой. То был тесть маркиза, старый герцог де Лавердьер — фаворит графа д'Артуа во времена охотничьих поездок в Водрель к маркизу де Конфлан и, как говорили, любовник королевы Марии-Антуанетты, после г-на де Куаньи и перед г-ном де Лозен. Его бурная жизнь прошла в кутежах, дуэлях, пари, похищениях; он промотал свое состояние и приводил в ужас всю семью. За его стулом стоял лакей и громко выкрикивал ему на ухо названия блюд, а тот только показывал на них пальцем и что-то мычал. Взгляд Эммы то и дело невольно возвращался к этому старику с

отвисшими губами и задерживался на нем, как на чем-то необычайном и величественном: он жил при дворе, он лежал в постели королевы!

Розлили в бокалы замороженное шампанское. Когда Эмма ощутила во рту его холод, у нее дрожь пробежала по коже. Никогда не видала она гранатов, никогда не ела ананасов. Даже сахарная пудра казалась ей какой-то особенно белой и мелкой.

Потом дамы разошлись по комнатам переодеваться к балу. Эмма занялась туалетом тщательно и обдуманно, как актриса перед дебютом. Убрав волосы так, как ей советовал парикмахер, она надела разложенное на кровати барежевое платье. Шарль жаловался, что панталоны жмут ему в поясе.

— Штрипки будут мне мешать танцевать, — говорил он.

— Танцевать? — переспросила Эмма.

— Ну да!

— Ты с ума сошел! Над тобой смеяться будут. Сиди уж лучше спокойно... Да для врача это и приличнее, — прибавила она помолчав.

Шарль затих. Он расхаживал по комнате и ждал, пока Эмма кончит одеваться.

Он видел её в зеркало сзади. Свечи освещали ее с двух сторон. Темные глаза Эммы казались еще темнее. Гладкие бандо, слегка подымавшиеся на

висках, отливали синевой; в прическе дрожала на гибком стебле роза, и искусственные росинки играли на ее лепестках. Платье было бледно-шафранового цвета, отделанное тремя букетами роз-помпон с зеленью.

Шарль хотел поцеловать Эмму в плечо.

— Оставь! — сказала она. — Изомнешь платье.

Внизу скрипка заиграла ритурнель, доносились звуки рога. Эмма спустилась по лестнице, еле сдерживаясь, чтобы не побежать.

Начиналась кадрили. Сходились гости. Было тесно. Эмма села на банкетку, поблизости от двери.

Когда перестали танцевать, посреди зала остались только группы беседовавших стоя мужчин да ливрейные лакеи с большими подносами. По всему ряду сидящих женщин колыхались и шелестели разрисованные веера, прикрывались букетами улыбки, и руки в белых перчатках, обрисовывавших ногти и сжимавших запястье, вертели флакончики с золотыми пробками. Кружевные оборки, бриллиантовые броши трепетали на груди, сверкали на корсажах, браслеты с подвесками звякали на обнаженных руках. В приглаженных на лбу и закрученных на затылке прическах красовались — венками, гроздьями, ветками — незабудки, жасмин, цветы граната, пшеничные колосья и васильки.

Неподвижно сидели по местам нахмуренные матери в красных тюрбанах.

Когда кавалер взял Эмму за кончики пальцев и она вместе с ним стала в ряд, дожидаясь смычка, сердце ее слегка забило. Но скоро волнение исчезло; покачиваясь в ритм с оркестром, она скользила вперед, чуть поводя шей и невольно улыбалась тонким переходам скрипки, когда порою умолкали остальные инструменты и скрипач играл соло; тогда отчетливо слышался чистый звон золотых монет, сыпавшихся на сукно карточных столов. Вдруг сразу вступил весь оркестр, — неслись звучные раскаты корнет-а-писто́на, в такт опускались ноги, раздувались и шуршали юбки, встречались и расставались пальцы; одни и те же глаза то опускались перед вами, то снова вперялись в вас взглядом.

Среди танцующих и беседующих у дверей гостей несколько мужчин — их было человек пятнадцать, в возрасте от двадцати пяти до сорока лет — резко отличались от остальных каким-то общим семейным сходством, несмотря на различие в годах, в costume, в чертах лица.

Фраки их были сшиты лучше, чем у других гостей, и казалось, что на них пошло более тонкое сукно; волосы, зачесанные локонами на виски, блестели от более изысканной помады. Самый цвет лица — матово-белый цвет, такой красивый на

фоне бледного фарфора, муаровых отливов атласа, лакового блеска дорогой мебели, поддерживаемый размеренным режимом и тонкой пищей, — изобличал богатство. Шеи этих людей покойно поворачивались в низких галстуках; длинные бакенбарды ниспадали на отложные воротнички; губы они вытирали вышитыми платками с большими монограммами, и платки издавали чудесный запах. Те из мужчин, которые уже старели, казались еще молодыми, а у молодых лежал на лицах некий отпечаток зрелости. В их равнодушных взглядах отражалось спокойствие ежедневно утоляемых страстей; сквозь мягкие манеры просвечивала та особенная жесткость, какую прививает господство над существами, покорными лишь наполовину, упражняющими в человеке силу и забавляющими его тщеславие: езда на кровных лошадях и общество продажных женщин.

В трех шагах от Эммы кавалер в синем фраке и бледная молодая женщина с жемчужным ожерельем на шее говорили об Италии. Они восхваляли толщину колонн собора св. Петра, Тиволи, Везувий, Кастелламаре и Кашины, генуэзские розы, Колизей при лунном свете. А другим ухом Эмма слышала обрывки разговора, полного непонятных для нее слов. В центре группы гостей совсем еще молодой человек рассказывал,

как на прошлой неделе он «побил в Англии Мисс Арабеллу и Ромула» и выиграл две тысячи луидоров, «блестяще взяв препятствия». Другой жаловался, что его скаковые жеребцы жиреют, третий бранил типографию, которая из-за опечаток совершенно исказила имя его лошади.

Воздух сгущался, лампы бледнели. Толпа гостей отхлынула в бильярдную. Лакей влез на стул и разбил окно; на звон осколков г-жа Бовари повернула голову и увидела в саду прижавшиеся к оконным стеклам лица глазающих крестьян. И она вспомнила Берто. Она увидела перед собою ферму, грязный пруд, отца в блузе под яблоней, увидела себя самое, как она когда-то пальчиком снимала на погребе сливки с горшков молока. Но в сегодняшнем блеске былая жизнь, до сих пор такая ясная, целиком уходила в тень, — и Эмма почти сомневалась, на самом ли деле она ею жила. Она была здесь, а за пределами бала не оставалось ничего, кроме мрака, где утонуло все остальное. В эту минуту, прищутив глаза, она медленно ела мороженое с мараскином на позолоченном блюдечке, которое держала в левой руке.

Дама рядом с нею уронила веер. Мимо проходил какой-то танцор.

— Не будете ли вы добры, сударь, поднять мой веер, — сказала дама. — Он упал за это канапе.

Господин наклонился, и Эмма увидела, что в ту минуту, как он протягивал руку, молодая дама бросила ему в шляпу что-то белое, сложенное треугольником. Господин достал веер и почтительно подал его даме; та поблагодарила кивком и прикрыла лицо букетом.

После ужина, за которым было много испанских и рейнских вин, два супа — раковый и с миндальным молоком, — трафальгарский пудинг и всевозможное холодное мясо с дрожащим на блюдах галантиром, гости стали разъезжаться. Отодвинув уголок муслиновой занавески, можно было видеть, как скользили во мраке фонари экипажей. Банкетки опустели; за карточными столами еще оставалось несколько игроков; музыканты облизывали натруженные кончики пальцев; Шарль дремал, прислонившись спиной к двери.

В три часа утра начался котильон. Эмма не умела танцевать вальс. Но вальс танцевали все, даже мадмуазель д'Андервилье и маркиза. В зале остались только те, кто гостил в замке, — всего человек двенадцать.

Между тем один из танцоров, которого запросто называли виконтом, — низко открытый жилет облегал его торс, как перчатка, — уже второй раз приглашал г-жу Бовари, уверяя, что он будет ее вести и она отлично справится с танцем.

Они начали медленно, потом пошли быстрее. Они кружились, и всё кружилось вокруг них, словно диск на оси, — лампы, мебель, панели, паркет. У дверей край платья Эммы обвил колено кавалера; при поворотах они почти касались друг друга ногами; он смотрел на нее сверху, она поднимала к нему взгляд; у нее помутилось в голове, она остановилась. Потом начали сызнова; все ускоряя движение, виконт, увлекая Эмму за собой, дошел до самого конца зала, где она, задыхаясь и чуть не падая, на мгновенье оперлась головою на его грудь. А потом, все еще кружась, но уже гораздо тише, он отвел ее на место. Она откинулась назад, прислонилась к стене и закрыла глаза рукой.

Когда она их открыла — перед дамой, сидевшей на пуфе посредине гостиной, стояли на коленях три кавалера. Дама выбрала виконта. И снова заиграла скрипка.

На них глядели. Они скользили то ближе, то дальше; она держала корпус неподвижно, слегка наклонив голову, а он сохранял все ту же свою позу: стан выпрямлен, локоть округлен, подбородок выдвинут вперед. О, эта женщина умела вальсировать! Они танцевали долго и утомили всех партнеров.

Потом гости поболтали еще несколько минут и, пожелав друг другу доброй ночи, или, вернее, доброго утра, разошлись по спальням.

Шарль еле тащился, держась за перила, — у него *подкашивались ноги*. Пять часов подряд простоял он за столами, глядя на вист, но ничего в нем не понимая. И, сняв ботинки, он глубоко и облегченно вздохнул.

Эмма накинула на плечи шаль, распахнула окно и облокотилась на подоконник.

Ночь стояла темная. Накрапывал редкий дождь. Эмма вдыхала сырой воздух, освежавший веки. Бальная музыка еще гремела у нее в ушах, и она изо всех сил старалась не заснуть, чтобы продлить иллюзию жизни среди роскоши, с которой уже было время расставаться.

Начало светать. Эмма долго глядела на окна замка, пытаясь угадать комнаты всех тех, кого заметила накануне. Ей хотелось бы узнать их жизнь, проникнуть в нее, слиться с нею.

Но было холодно. Эмма дрожала. Она разделась и забилась под одеяло к спящему Шарлю.

За завтраком было много народа. Еда продолжалась десять минут; никаких напитков, к удивлению врача, не подавали. Затем мадмуазель д'Андервилье собрала в корзиночку крошки от пирога и понесла их на пруд лебедям. Пошли гулять в зимний сад, где причудливые ворсистые

растения пирамидами возвышались под висевшими на потолке вазами, из которых, точно из переполненных змеиных гнезд, перегибались через край длинные, спутанные зеленые стебли. Помещение кончалось оранжереей — крытым переходом в людские. Желая доставить г-же Бовари развлечение, маркиз повел ее на конюшню. Над кормушками в форме корзинок блестели фарфоровые дощечки с черными надписями — именами лошадей. Кони волновались в стойлах, когда маркиз, проходя мимо, щелкал языком. В шорном сарае пол блестел, как салонный паркет. Экипажная упряжь была развешана на двух вращающихся колонках, а на стенах висели уздечки, хлысты, стремяна, цепочки.

Между тем Шарль попросил слугу запрячь шарабанчик. Его подали к подъезду, взгромоздили поклажу, и супруги Бовари, простившись с маркизом и маркизой, отправились в Тост.

Эмма молча глядела, как вертятся колеса. Шарль сидел на краю скамейки и, расставив руки, правил; лошадка бежала иноходью в слишком широко раздвинутых оглоблях. Мягкие вожжи подпрыгивали на ее крупе и мокли в пене, а прикрученный сзади чемодан крепко и мерно ударялся о кузов.

Они были на Тибурвильском подъеме, когда навстречу им со смехом проскакала кавалькада

всадников с сигарами в зубах. Эмме показалось, что в одном из них она узнала виконта; она обернулась, но увидела на горизонте только мельканье голов, поднимавшихся и опускавшихся в соответствии с тактом галопа или рыси.

Спустя еще четверть льё пришлось остановиться и подвязать веревкой шлею.

Но, в последний раз оглядывая упряжь, Шарль увидел что-то на земле, под ногами у лошади. Он нагнулся и поднял портсигар из зеленого шелка, на котором, словно на дверце кареты, красовался посередине герб.

— Тут даже есть две сигары, — сказал он. — Пригодится после обеда.

— Ты разве куришь? — спросила Эмма.

— Курю иногда, при случае.

Он сунул находку в карман и стегнул лошаденку.

Когда вернулись домой, обед был еще не готов. Барыня разгневалась. Настази ей надерзила.

— Вон! — сказала Эмма... — Вы издеваетесь надо мной... Получите расчет!

К обеду был луковый суп и телятина со щавелем. Усевшись напротив Эммы, муж потер руки и счастливым голосом сказал:

— Как хорошо дома!

Слышен был плач Настази. Шарль успел немного привязаться к этой бедной служанке.

Когда-то, в одинокие минуты вдовства, она помогла ему скоротать немало вечеров. Она была его первой пациенткой, самой старой его знакомой в округе.

— Ты в самом деле прогонишь ее? — сказал он наконец.

— Да. Кто мне запретит? — отвечала жена.

Потом они грелись на кухне, пока Настази убирала спальню на ночь. Шарль закурил. Курил он неловко: выпячивал губы, поминутно сплевывал и при каждой затяжке откидывался назад.

— Тебе дурно станет, — презрительно сказала Эмма.

Он отложил сигару и побежал к колодцу выпить холодной воды. Эмма схватила портсигар и поспешно бросила его в ящик шкафа.

Каким длинным показался ей следующий день! Она гуляла в своем крохотном садике, вновь и вновь проходя все по тем же дорожкам, останавливаясь перед грядками, перед шпалерой абрикосов, перед гипсовым кюре, удивленно разглядывая все эти старые, так хорошо знакомые вещи. Каким далеким казался ей бал! Кто это отодвинул вчерашнее утро на такое огромное расстояние от сегодняшнего вечера? Поездка в Вобьессар сделалась в ее жизни зияющим провалом, — вроде расселины, какую иногда в одну ночь пробивает гроза в скале. Но Эмма примирилась, она благоговейно сложила в комод

свой прекрасный туалет — все, вплоть до атласных туфель, подошвы которых пожелтели от навощенного, скользкого паркета. Так и ее сердце: оно тоже потерялось о богатство и сохранило на себе неизгладимый налет.

И вспоминать о бале стало для Эммы постоянным занятием. Каждую среду она говорила, просыпаясь: «Ах, неделю... две недели... три недели назад — я была там!» Мало-помалу все лица смешались в ее памяти, позабылись мелодии кадрилей, смутнее стали представляться ливреи и покои замка; мелкие подробности исчезли, но сожаление осталось.

IX

Часто, когда Шарль уходил, Эмма вынимала из шкафа запрятанный в белье зеленый шелковый портсигар.

Она разглядывала его, открывала и даже нюхала пропитанную запахом вербены и табака подкладку. Чей был он?.. Виконта! Быть может, это подарок любовницы. Его вышивали на палисандровых пяльцах, — на крохотных пяльцах, которые приходилось прятать от чужих глаз и которым было посвящено много часов. Над ними склонялись мягкие локоны задумчивой рукодельницы. Любовные вздохи проникали в

петли канвы; каждый стежок закреплял какую-нибудь надежду или воспоминание; и все эти сплетающиеся нити шелка были лишь непрерывностью единой молчаливой страсти. А потом, однажды утром, виконт унес подарок с собой? О чем говорилось в комнате, когда этот сувенир лежал на широкой полке камина рядом с цветочными вазами и часами Помпадур? Она в Тосте. Он теперь в Париже. Там! Каков этот Париж? Какое величественное название! Эмма вполголоса повторяла это слово и радовалась ему. Оно звучало в ее ушах, как соборный колокол, оно пылало перед ее глазами на всем, даже на этикетках помадных банок.

Ночью, когда под окнами, распевая «Майоран», проезжали на своих повозках рыбаки, она просыпалась. «Завтра они будут там!» — говорила она, слыша стук окованных железом колес, тотчас замиравший на мягкой земле, как только обоз выезжал за околицу.

Она мысленно следовала за ними, поднималась на холмы и спускалась в долины, проезжала деревни, катилась при свете звезд по большой дороге. Но на каком-то неопределенном расстоянии всегда оказывалось туманное место, где увядала мечта.

Она купила план Парижа и, водя пальцем по карте, часто путешествовала по столице. Она

двигалась по бульварам, останавливаясь на каждом углу между линиями улиц, у белых прямоугольников, изображающих дома. Наконец глаза ее уставали, она смежала веки и видела во тьме колеблемые ветром огни газовых фонарей и откидные подножки карет, с грохотом падающие перед колоннадами театров.

Она подписалась на дамский журнал «Свадебный подарок» и на «Салонного сильфа». Не пропуская ни строчки, поглощала она все отчеты о премьерах, скачках и вечерах; ее интересовали и дебют певицы, и открытие нового магазина. Она знала все последние моды, адреса лучших портных, дни, когда полагается быть в Булонском лесу или в Опере. По Эжену Сю она изучала мебель; читая Бальзака и Жорж Санд, пыталась найти в них воображаемое утоление своим собственным страстям. Даже за стол она садилась с книгой и, пока Шарль ел и говорил с нею, перелистывала страницы. Читая, она все время вспоминала виконта. Она искала в нем сходство с литературными персонажами. Он был центром сияющего круга, но круг этот постепенно расширялся, и, отделяясь от образа, ореол захватывал дальние просторы, освещал иные мечты.

Париж, безбрежный, как океан, сверкал в глазах Эммы своим багровым отблеском. Но

многосложная жизнь, кипевшая в его сутолоке, все же делилась на части, разбивалась на разные картины. Эмма видела из них только две или три, и они заслоняли все остальные, становились отображением всего человечества. В зеркальных залах, среди овальных столов, покрытых бархатом с золотой бахромой, выступал на блестящих паркетах мир посланников. Там были платья со шлейфами, роковые тайны, страшные терзания, скрытые под светской улыбкой. Дальше шло общество герцогинь; там все были бледны и вставали в четыре часа дня; там женщины — бедные ангелы! — носили юбки с отделкой из английского кружева, а мужчины — непризнанные таланты под легкомысленной внешностью — загоняли на прогулках лошадей, проводили летний сезон в Бадене и, наконец, к сорока годам женились на богатых наследницах. В отдельных кабинетах ночных ресторанов хохотала при блеске свечей пестрая толпа литераторов и актрис. Они были щедры, как цари, полны идеальных стремлений и фантастических прихотей. То было парящее над всем существование, между небом и землей, в бурях, полное величия. Остальной же мир как-то терялся, не имел точного места и словно бы вовсе не существовал. Чем ближе была действительность, тем резче отворачивалась от нее мысль. Все, что непосредственно окружало Эмму, — скучная

деревня, глупые мещане, мелочность жизни, — казалось ей чем-то исключительным в мире, странной случайностью, с которой она непонятно столкнулась. Выше же простиралась необъятная страна блаженства и страстей, и глаз не мог охватить ее простора. В своих желаниях Эмма смешивала чувственные утехи роскоши с сердечными радостями, изысканность манер с тонкостью души. Разве любовь не нуждается, подобно индийским растениям, в искусно возделанной почве, в особой температуре? И потому вздохи при луне, долгие объятия и слезы, капающие на пальцы в час разлуки, и лихорадочный жар в теле, и томление нежной страсти — все это было для нее неотделимо от огромных замков, где люди живут в праздности, от будуаров с шелковыми занавесками и мягкими коврами, от жардиньерок с цветами, от кроватей на высоких подмостках, от блеска драгоценных камней и ливрей с аксельбантами.

Каждое утро, стуча толстыми подошвами, проходил по коридору почтовый конюх, являвшийся к доктору чистить кобылу; на нем была дырявая блуза и опорки на босу ногу. Вот кем приходилось довольствоваться вместо грума в рейтузах! Покончив со своей работой, он уже не возвращался до следующего утра; приезжая домой, Шарль сам отводил лошадь в стойло и, расседлав,

надевал на нее недоуздок; а в это время служанка приносила и наспех бросала в ясли охапку сена.

На место Настази, которая, наконец, уехала из Тоста, причем плакала в три ручья, Эмма взяла в дом четырнадцатилетнюю девочку-сиротку с кротким личиком. Она запретила ей носить ночной чепец, приучила обращаться на «вы», подавать стакан воды на тарелочке, стучаться в дверь, прежде чем войти в комнату, гладить и крахмалить белье и помогать при одеванье: она хотела сделать ее своей камеристкой. Новая служанка безропотно подчинялась всему, боясь, как бы ее не прогнали; а так как барыня обыкновенно забывала в буфете ключ, то Фелиситэ каждый вечер брала оттуда немножко сахара и украдкой съедала его в постели, после молитвы.

Под вечер она иногда выходила на улицу поболтать с почтовыми конюхами. Барыня сидела у себя наверху.

Эмма носила очень открытый капот; между шалевыми его отворотами виднелась сборчатая шемизетка с тремя золотыми пуговками; она подпоясывалась шнуром с большими кистями, а на туфельках гранатового цвета красовались широкие банты, прикрывавшие подъем. Она купила себе бювар, коробку почтовой бумаги, конверты и ручку, хотя писать было некому; с утра она обметала этажерку, гляделась в зеркало, брала

книгу, а потом, замечтавшись, роняла ее на колени. Ей хотелось отправиться в путешествие или вернуться в монастырь. Она одновременно желала и умереть и жить в Париже.

А Шарль и в дождь, и в снег трусил на своей лошаденке по проселочным дорогам. Он закусывал на фермах яичницей, копался руками в потных постелях, пускал кровь, и теплые ее струи иногда попадали ему в лицо; он выстукивал больных, заворачивая грязные рубашки, выслушивал хрипы, разглядывал содержимое ночных горшков; но зато каждый вечер он находил дома яркий огонь, накрытый стол, мягкую мебель и изящно одетую жену, очаровательную, пахнувшую свежестью. Он даже не знал, откуда идет этот запах: не ее ли кожей благоухает сорочка?

Эмма пленяла его бесчисленными тонкостями: то она по-новому сделает бумажные розетки к подсвечникам, то переменит на своем платье волан, то под таким необычным названием предложит самое простое блюдо, не удавшееся кухарке, что Шарль с наслаждением проглотит его без остатка. Увидев в Руане, что дамы носят на часах связки брелоков, она и себе купила брелоки. Она вздумала поставить на камин две больших вазы синего стекла, а несколько позже — рабочий ящик слоновой кости с позолоченным наперстком. Чем меньше разбирался Шарль во всех

этих изысканных причудах, тем больше они очаровывали его: от них еще полнее становилось его блаженство, еще уютнее был домашний очаг. Они словно золотой пылью усыпали узенькую тропинку его жизни.

Он был здоров, имел прекрасный вид; репутация его окончательно установилась. В деревнях его любили: он был не гордый, он ласкал детей, никогда не заходил в трактиры и внушал доверие своим благонравием. Особенно хорошо справлялся он с катарами и простудными заболеваниями. В самом деле, Шарль больше всего боялся убить пациента и потому почти всегда прописывал только успокоительные средства да еще время от времени рвотное, ножную ванну или пиявки. Но это не значит, что он опасался хирургии: кровь он пускал людям, словно лошадям, а уж когда приходилось рвать зуб, то *хватка у него была мертвая*.

Желая *быть в курсе*, Шарль по проспекту подписался на новый журнал «Медицинский улей» и после обеда пробовал читать. Но не прошло пяти минут, как он засыпал от тепла и сытости; так он и сидел, навалившись подбородком на руки, а волосы его, словно грива, спускались на подставку лампы. Эмма глядела на него и только плечами пожимала. Почему ей не достался в мужья хотя бы молчаливый труженик, — один из тех людей,

которые по ночам роются в книгах и к шестидесяти годам, когда начинается ревматизм, получают крестик в петлицу плохо сшитого черного фрака?.. Ей хотелось бы, чтобы имя ее, имя Бовари, было прославлено, чтобы оно выставлялось в книжных магазинах, повторялось в газетах, было известно всей Франции. Но у Шарля не было никакого честолюбия и даже самолюбия. Один врач из Ивето, с которым ему пришлось консультироваться, сказал ему у постели больного, при всех родственниках, что-то оскорбительное. Вечером, когда Шарль рассказал Эмме эту историю, она страшно возмутилась его коллегой. Муж пришел в умиление; он со слезами на глазах поцеловал ее в лоб. Но она была вне себя от стыда, ей хотелось прибить его; чтобы успокоить нервы, она выбежала в коридор, распахнула окно и стала вдыхать свежий воздух.

— Какой жалкий человек! Какой жалкий человек! — шептала она, кусая губы.

И вообще Шарль все больше раздражал ее. С возрастом у него появились вульгарные манеры: за десертом он резал ножом пробки от выпитых бутылок, после еды обчищал зубы языком, а когда ел суп, то хлюпал при каждом глотке; он начинал толстеть, и казалось, что его пухлые щеки словно приподняли и без того маленькие глаза к самым вискам.

Иногда Эмма заправляла ему в вырез жилета выбившуюся красную каемку вязаного белья, поправляла галстук или, видя, что он собирается надеть потертые перчатки, выбрасывала их вон; но все это она делала не для него, как он думал, — все это она делала для себя самой, из эгоизма и нервного раздражения. Иногда она даже пересказывала ему то, что читала: отрывки из романов и новых пьес, *светские* сплетни из фельетонов: ведь все-таки Шарль был человек, и человек, всегда готовый слушать, всегда со всем соглашавшийся. А Эмма и борзой своей делала немало признаний! Она могла бы обращаться с ними и к дровам в камине, и к часовому маятнику.

Но в глубине души она ждала какого-то события. Подобно матросу на потерпевшем крушение корабле, она в отчаянии оглядывала пустыню своей жизни и искала белого паруса в туманах дальнего горизонта. Она не знала, какой это будет случай, какой ветер пригонит его, к какому берегу он ее унесет; она не знала, будет ли то шлюпка, или трехпалубный корабль, будет ли он нагружен страданиями, или до самых люков полон радостей. Но, просыпаясь по утрам, она всякий раз надеялась, что это случится в тот же день, — и прислушивалась ко всем шорохам, вскакивала с места, удивлялась, что все еще ничего нет. А когда

заходило солнце, она грустила и желала, чтобы поскорее наступил следующий день.

Снова пришла весна. С первыми жаркими днями, когда зацвели груши, у Эммы началось удушье.

С начала июля она принялась считать по пальцам, сколько недель оставалось до октября: может быть, маркиз д'Андервилье даст в Вобьессаре еще один бал. Но миновал и сентябрь, а ни писем, ни визитов не было.

Когда прошла горечь разочарования, сердце ее вновь опустело, и опять потянулась вереница серых дней.

Значит, так они и пойдут чередой — все одинаковые, неисчислимы, ничего не приносящие дни! Как ни однообразно существование других людей, но в нем есть по крайней мере возможность событий. Иной раз одно-единственное приключение порождает бесконечные перипетии, и тогда декорации меняются. Но с нею не случилось ничего. Так уж угодно богу. Будущее казалось темным коридором, в конце которого была крепко запертая дверь.

Музыку Эмма забросила. Зачем играть? Кто станет слушать? Раз уж никогда не придется, сидя в бархатном платье за эраровским роялем, пробегать по клавишам легкими пальцами обнаженных рук и слышать, как, словно ветерок, охватывает тебя со

всех сторон восхищенный шепот толпы в концертном зале, то стоит ли скучать за упражнениями? Свои рисунки и вышивки она не вынимала из шкафа. К чему? К чему? Шитье только раздражало ее.

— Я уже все прочла, — говорила она.

Так и сидела она на месте, раскаляя докрасна каминные щипцы или глядя в окно на дождь.

Грустно бывало ей по воскресеньям, когда звонили к вечерне! С тупым вниманием слушала она, как равномерно дребезжал надтреснутый колокол. Кошка медленно кралась по крыше, выгибая спину под бледными лучами солнца. Ветер клубами вздымал пыль на дороге. Иногда вдали выла собака, а колокол продолжал свой монотонный звон, уносившийся в поля.

Но вот народ начинал выходить из церкви. Женщины в начищенных башмаках, крестьяне в новых блузах, прыгающие впереди ребятишки без шапок — все шли домой. И до самой ночи пять-шесть человек — всегда одни и те же — играли у ворот постоянного двора в пробку.

Зима была холодная. Каждый день к утру окна замерзали, и белесоватый свет, пробиваясь сквозь матовое стекло, иногда так и не менялся весь день. К четырем часам уже приходилось зажигать лампу.

В хорошую погоду Эмма выходила в сад. На капусте серебряным шитьем сверкал иней; длинные

блестящие нити паутины тянулись от кочна к кочну. Птиц не было слышно, все казалось спящим; фруктовые деревья были закутаны соломой; виноградник, словно огромная больная змея, тянулся под навесом у стены, на которой, подойдя ближе, можно было разглядеть ползающих на бесчисленных лапках мокриц. У фигуры кюре в треуголке, читавшего молитвенник под пихтами у забора, отвалилась правая ступня и даже облупился от мороза гипс, так что на лице у него появились белые лишай.

Эмма поднималась в свою комнату, запирала дверь, начинала ворошить угли в камине и, слабея от жары, чувствовала, как тяжелеет гнетущая тоска. Она с удовольствием спустилась бы на кухню поболтать со служанкой, но ее удерживал стыд.

Каждый день в один и тот же час открывал свои ставни учитель в черной шелковой шапочке и проходил сельский стражник в блузе и при сабле. Утром и вечером, по три в ряд, пересекали улицу почтовые лошади — они шли к пруду на водопой. Время от времени дребезжал колокольчик на двери кабачка, да в ветреную погоду скрежетали на железных прутьях медные тазики, заменявшие вывеску у парикмахерской. Все украшение ее витрины состояло из старой модной картинки, наклеенной на оконное стекло, и воскового женского бюста в желтом шиньоне. Парикмахер

тоже плакался на застой в работе, на загубленную карьеру и, мечтая о мастерской в каком-нибудь большом городе, например в Руане, на набережной или близ театра, — целый день, в мрачном ожидании клиентов, расхаживал по улице от мэрии до церкви и обратно. Поднимая глаза, г-жа Бовари всегда видела его на посту: словно часовой, шагал он в своей феске набекрень и ластиковом пиджаке.

Иногда, под вечер, за окном гостиной появлялось загорелое мужское лицо в черных баках; оно медленно улыбалось широкой и сладкой улыбкой, показывая белые зубы. Тотчас раздавался вальс, и под звуки шарманки кружились, кружились в крохотном зале между креслами, кушетками и консолями танцоры вышиною в палец — женщины в розовых тюрбанах, тирольцы в курточках, обезьянки в черных фраках, кавалеры в коротких штанах, — и все это отражалось в осколках зеркального стекла, приклеенных по углам полосками золотой бумаги. Мужчина вертел ручку, заглядывая направо и налево в окна. Время от времени он сплевывал на тумбу длинную струю коричневой слюны и приподнимал коленом инструмент, который оттягивал ему плечо жесткой перевязью; музыка, то грустная и тягучая, то веселая и быстрая, с гудением вырывалась из-за розовой тафтяной занавески, державшейся на узорной медной планке. А где-то играли те же

самые мелодии в театрах, пели в салонах, танцевали под их звуки вечерами в освещенных люстрами залах. Они долетали до Эммы как отголоски большого света. Бесконечные сарабанды кружились в ее мозгу, и мысль, словно баядерка на цветах ковра, извивалась вместе со звуками музыки, скользила от мечты к мечте, от печали к печали. Собрав в фуражку подаяния, мужчина накрывал шарманку старым чехлом из синего холста, взваливал ее на спину и тяжелыми шагами удалялся. Эмма глядела ему вслед.

Но особенно невыносимо было во время обеда, внизу, в крохотной столовой с вечно дымящей печью и скрипучей дверью, с промозглыми стенами и влажным от сырости полом. Эмме казалось, что ей подают на тарелке всю горечь существования, и когда от вареной говядины шел пар, отвращение клубами подымалось в ее душе. Шарль ел долго; она грызла орешки или, облокотившись на стол, от скуки царапала ножом клеенчатую скатерть.

На хозяйство она теперь махнула рукой, и старшая г-жа Бовари, приехав великим постом, очень удивилась такой перемене. В самом деле, прежде Эмма была так опрятна и разборчива, а теперь по целым дням ходила неодетая, носила серые бумажные чулки, сидела при свечке. Она все говорила, что раз нет богатства, то надо экономить,

и прибавляла, что сама она очень довольна, очень счастлива, что Тост ей очень нравится; все эти новые речи зажимали свекрови рот. К тому же Эмма, по-видимому, не собиралась слушаться ее советов; однажды, когда свекровь попробовала заметить, что господа должны следить, чтобы слуги исполняли свои религиозные обязанности, она ответила таким гневным взглядом и такой холодной улыбкой, что старушка перестала вмешиваться в ее дела.

Эмма стала требовательна и капризна. Она заказывала для себя отдельные блюда, а потом не прикасалась к ним; сегодня пила одно только цельное молоко, а завтра набрасывалась на чай. Часто она упорно не хотела выходить из дома, а потом ей всюду казалось душно, она открывала окна, надевала легкие платья. Замучив служанку строгостью, она вдруг делала ей подарки или посылала ее в гости к соседям и точно так же иной раз выбрасывала нищим все серебро из своего кошелька, хотя вовсе не была ни особенно мягка, ни чувствительна к чужим страданиям, как, впрочем, и большинство людей, вышедших из деревни: в их душах навсегда остается что-то от жесткости отцовских мозолей.

В конце февраля дядюшка Руо привез зятю в память своего излечения великолепную индюшку и прогостил в Тосте три дня. Шарль был занят

больными, и со стариком сидела Эмма. Он курил в комнатах, плевал в камин, говорил о посевах, о телятах, о коровах, о дичи, о муниципальном совете, и, когда он уехал, дочь заперла за ним дверь с таким удовольствием, что даже сама удивилась. Впрочем, она уже перестала скрывать свое презрение ко всему на свете; нередко она нарочно выражала странные мнения — порицала то, что полагалось хвалить, хвалила то, что другие признавали извращенным и безнравственным. Муж только раскрывал глаза от удивления.

Неужели это жалкое существование будет длиться вечно? Неужели она никогда от него не избавится? Ведь она ничем не хуже всех тех женщин, которые живут счастливо. В Вобьессаре она видела не одну герцогиню, у которой и фигура была грузнее, и манеры вульгарнее, чем у нее. И Эмма проклинала бога за несправедливость; она прижималась головой к стене и плакала; она томилась по шумной и блестящей жизни, по ночным маскарадам, по дерзким радостям и неизведанному самозабвению, которое должно было в них таиться.

Она побледнела, у нее бывали сердцебиения. Шарль прописал ей валерьяновые капли и камфарные ванны. Но все, что пытались для нее сделать, как будто раздражало ее еще больше.

В иные дни на нее нападала лихорадочная болтливость; потом возбуждение сменялось тупым безразличием, и она, молча, неподвижно сидела на одном месте. Тогда она поддерживала свои силы только тем, что целыми флаконами лила себе на руки одеколон.

Все время она жаловалась на Тост; поэтому Шарль вообразил, будто в основе ее болезни лежит какое-то влияние местного климата, и, остановившись на этой мысли, стал серьезно думать о том, чтобы устроиться в другом городе. Тогда Эмма начала пить уксус, чтобы похудеть, схватила сухой кашель и окончательно потеряла аппетит.

Шарлю нелегко было расстаться с Тостом, где он прожил уже четыре года, да еще расстаться в тот момент, когда он *начал становиться на ноги*. Но что надо, то надо! Он отвез жену в Руан и показал ее профессору, у которого в свое время учился. Оказалось, что у Эммы нервное заболевание: необходимо переменить обстановку.

Обратившись туда-сюда, Шарль узнал, что в Нефшательском округе есть отличный городок Ионвиль-л'Аббэй, откуда как раз за неделю до того уехал врач, польский эмигрант. Тогда Шарль написал местному аптекарю письмо, в котором спрашивал, какова численность населения в городе, далеко ли до ближайшего коллеги, сколько

зарабатывал в год его предшественник и так далее. Ответ был благоприятный, и Бовари решил, если здоровье жены не улучшится, к весне переехать.

Однажды Эмма, готовясь к отъезду, разбирала вещи в комод и уколола обо что-то палец. То была проволочка от ее свадебного букета. Флердоранж пожелтел от пыли, атласные ленты с серебряной каймой истрепались по краям. Эмма бросила цветы в огонь. Они вспыхнули, как сухая солома. На пепле остался медленно догоравший красный кустик. Эмма глядела на него. Лопались картонные ягодки, извивалась медная проволока, плавился галун; обгоревшие бумажные венчики носились в камине, словно черные бабочки, пока, наконец, не улетели в трубу.

В марте, когда супруги уехали из Тоста, г-жа Бовари была беременна.

Часть вторая

I

Ионвиль-л'Аббэй (он назван так в честь старинного аббатства капуцинов, от которого теперь не осталось и развалин) — маленький городок в восьми льё от Руана, между Аббевильской и Бовезской дорогами; он лежит в

долине речки Риель, которая впадает в Андель и близ своего устья приводит в движение три мельницы; в ней водится небольшое количество форели, и по воскресеньям мальчишки удят здесь рыбу.

От большой дороги в Буасьере ответвляется проселок, отлого поднимается на холм Ле, откуда видна вся долина. Речка делит ее как бы на две области различного характера: налево идет сплошной луг, направо — поля. Луг тянется под полукружием низких холмов и позади соединяется с пастбищами Брэ, к востоку же все шире идут мягко поднимающиеся поля, беспредельные нивы золотистой пшеницы. Окаймленная травой текущая вода отделяет цвет полей от цвета лугов светлой полоской, и, таким образом, все вместе похоже на разостланный огромный плащ с зеленым бархатным воротником, обшитым серебряной тесьмой.

Подъезжая к городу, путешественник видит впереди, на самом горизонте, дубы Аргейльского леса и крутые откосы Сен-Жана, сверху донизу изрезанные длинными и неровными красноватыми бороздами. Это — следы дождей, а кирпичные тона цветных жилок, испестривших серую массу горы, происходят от бесчисленных железистых источников, которые текут из глубины ее в окрестные поля.

Здесь сходятся Нормандия, Пикардия и Иль-де-Франс, здесь лежит вырождающаяся местность с невыразительным говором и бесцветным пейзажем. Здесь делают самый скверный во всем округе нефшательский сыр, а земледелие тут обходится дорого: сыпучая песчаная почва полна камней и требует много навоза.

До 1835 года в Ионвиль почти нельзя было проехать, но в этом году был проложен большой проселочный путь, связывающий Аббевильскую дорогу с Амьенской. По нему иногда тянутся обозы из Руана во Фландрию. Однако Ионвиль, несмотря на свои *новые рынки*, остался все тем же. Жители, вместо того чтобы совершенствовать полеводство, цепляются за бездоходное луговое хозяйство, и ленивый городишко, отворачиваясь от полей, естественно продолжает расти в сторону реки. Он виден издалека: лежит, растянувшись, на берегу, словно пастух, уснувший близ ручья.

За мостом, у подошвы холма, начинается обсаженное молодыми осинами шоссе, прямое, как стрела; оно ведет к окраинным домам Ионвиля. Они окружены живыми изгородями; по дворам, под густыми деревьями, к которым прислонены лестницы, жерди и косы, разбросаны разные постройки — давальни, сараи, винокурни. Соломенные кровли, словно надвинутые на самые глаза меховые шапки, почти на целую треть

закрывают низенькие окошки с толстыми выпуклыми стеклами, в которых посредине выдавлен конус, как это делают на донышке бутылок. У выбеленных известкой стен, пересеченных по диагонали черными балками, кое-где растут тощие груши, а у входной двери устроены маленькие вертушки, — они не пускают в дом цыплят, клюющих на пороге сухарные крошки, намоченные в сидре. Но вот дворы становятся уже, дома сближаются, исчезают заборы; под окном качается палка от метлы, на которую надет пучок папоротника; видна кузница и рядом тележная мастерская; перед ней стоят, захватывая часть дороги, две-три новые телеги. Дальше появляется белый дом за решеткой, а перед ним круглый газон, где стоит, прижав пальчик к губам, маленький амур, по сторонам подъезда возвышаются две лепных вазы, на двери блестит металлическая дощечка. Это — дом нотариуса, самый лучший в городе.

В двадцати шагах от него, у выхода на площадь, по другую сторону дороги высится церковь. Ее окружает маленькое кладбище, огороженное каменной стеной ниже человеческого роста и заселенное так густо, что старые могильные плиты, лежащие вровень с землей, образуют сплошной пол, на котором проросшая зеленая травка очерчивает правильные четырехугольники.

Церковь была перестроена заново в последние годы царствования Карла X. Деревянный свод уже начинает сверху гнить, и местами на его синем фоне проступают черные пятна. Над дверью, где полагается быть органу, устроены хоры для мужчин; туда ведет звенящая под деревянными башмаками винтовая лестница.

Яркий дневной свет, проникая сквозь одноцветные оконные стекла, освещает своими косыми лучами ряды скамей, стоящих под прямым углом к стене; кое-где на них прибиты гвоздиками плетеные коврики, и над каждой надпись крупными буквами: «Скамья г-на такого-то». Дальше, в суживающейся части нефа, помещается исповедальня, вполне гармонирующая со статуэткой пресвятой девы в атласном платье, в тюлевой вуали с серебряными звездочками и густо накрученной, как идол с Сандвичевых островов; наконец в самой глубине перспективу завершает висящая над алтарем, между четырьмя высокими подсвечниками, копия «Святого семейства» — *дар министра внутренних дел*. На хорах еловые откидные сиденья так и остались некрашенными.

Добрая половина главной ионвильской площади занята крытым рынком, то есть черепичным навесом на двух десятках столбов. На углу, рядом с аптекой, находится мэрия, *выстроенная по плану парижского*

архитектора, — нечто вроде греческого храма. Украшение первого этажа — три ионические колонны, во втором — галерея с круглой аркой; на фронте — галльский петух, одной лапой он опирается на Хартию, а в другой держит весы правосудия.

Но больше всего привлекает внимание аптека г-на Омэ, что напротив трактира «Золотой лев». Особенно великолепна она вечером, когда в ней зажигается кинкетка и красные и зеленые шары на витрине далеко расстилают по земле цветные отблески. Сквозь шары, словно в бенгальском огне, виднеется тень склонившегося над пюпитром аптекаря. Дом его сверху донизу заклеен плакатами, на которых то английским почерком, то рондо, то печатным шрифтом написано: «Виши, сельтерская вода, барежская вода, кровоочистительные экстракты, слабительное Распайля, аравийский ракаут, пастилки Дарсэ, паста Реньо, перевязочные материалы, составы для ванн, лечебный шоколад и проч.». Вдоль всего фасада тянется вывеска, и на ней золотыми буквами значится: «Аптека Омэ». Внутри, за огромными, вделанными в прилавок весами, красуется над застекленной дверью слово «Лаборатория», а посредине самой двери еще раз повторено золотыми буквами на черном фоне: «Омэ».

Больше в Ионвиле глядеть не на что. Улица (единственная) длиною в полет ружейной пули насчитывает еще несколько лавчонок и обрывается на повороте дороги. Если оставить ее справа и пойти вдоль подошвы холма Сен-Жан, то скоро будет кладбище.

Во время холеры его расширили — сломали с одной стороны стену и прикупили смежный участок земли в три акра; но могилы по-старому теснятся у ворот, и новая половина почти целиком пустует. Сторож, он же могильщик и церковный причетник (таким образом он вдвойне наживается на покойниках), воспользовался свободным местом и засадил его картофелем. Но его участок из года в год все сокращается; и когда в городе бывают эпидемии, то он сам не знает, радоваться ли ему похоронам, или горевать, роя новые могилы.

— Вы кормитесь мертвыми, Лестибудуа! — не выдержав, сказал ему однажды господин кюре.

Эти мрачные слова заставили сторожа задуматься: он прекратил на некоторое время свои посадки, но все же и посейчас продолжает выращивать картофельные клубни и даже нагло утверждает, будто они растут сами собой.

Со времени событий, о которых пойдет наш рассказ, в Ионвиле, собственно, ничто не изменилось. На церковной колокольне по-старому вертится трехцветный жестяной флажок; над

галантерейной лавкой все еще развеваются по ветру два ситцевых вымпела, в аптеке мирно разлагаются в грязном спирту недоноски, похожие на пучки белого трута, а над дверью трактира старый, вылинявший под дождями золотой лев по-прежнему выставляет свою курчавую, как у пуделя, шерсть.

В тот вечер, когда в Ионвиль должны были приехать супруги Бовари, хозяйка этого трактира, вдова Лефрансуа, так захлопоталась, что вся вспотела, возясь с кастрюлями. В городке был как раз канун базарного дня. Следовало заранее разрубить туши, выпотрошить цыплят, приготовить суп и кофе. Кроме того, хозяйка торопилась с обедом для постоянных посетителей, а также для врача с женой и служанкой. В бильярдной стоял хохот, в задней комнатке три мельника с криком требовали водки; горел огонь, потрескивали угольки, и на длинном кухонном столе, среди кусков сырой баранины, возвышались стопки тарелок, дрожавшие при каждом сотрясении колоды, на которой рубили шпинат. С птичника доносились вопли кур и гусей, — за ними гонялась с ножом служанка.

У печки грел спину рябоватый человек в зеленых кожаных туфлях и бархатной шапочке с золотой кистью. Лицо его выражало лишь чистейшее самодовольство; вид был такой же

спокойный, как у щегленка в ивовой клетке, висевшей над его головой. То был аптекарь.

— Артемиза! — кричала трактирщица. — Наломай хворосту, налей графины, принеси водки! Да поторапливайся. Хоть бы мне кто сказал, какой десерт подать этим господам!.. Боже правый! Опять возчики скандалят в бильярдной!.. А телега их стоит у самых ворот! Ведь «Ласточка», когда подъедет, может ее разбить! Позови Полита, пусть оттащит ее в сторону!.. Подумайте только, господин Омэ, с утра они сыграли пятнадцать партий и выпили восемь кувшинов сидра!.. Они мне еще сукно на бильярде разорвут, — говорила она, поглядывая на пирующих издали, с шумовкой в руках.

— Не велика беда, — отвечал г-н Омэ. — Купите новый.

— Новый бильярд! — воскликнула вдова.

— Но ведь этот-то чуть держится, госпожа Лефрансуа; уверяю вас, вы сами себе вредите! Вы очень себе вредите! И к тому же теперь игроки предпочитают узкие лузы и тяжелые кии. Теперь снизу уж не играют — все изменилось! Надо идти в ногу с веком. Берите пример с Телье...

Хозяйка покраснела от досады.

— Что ни говорите, — продолжал аптекарь, — его бильярд изящнее вашего; и если бы кому-нибудь пришлось в голову, например, устроить

патриотическую пульку в пользу пострадавших от наводнения в Лионе или в пользу поляков...

— Ну, таких прощелыг, как Телье, мы еще не боимся! — перебила, вздернув пышные плечи, хозяйка. — Бросьте, господин Омэ! Пока будет существовать «Золотой лев», будут в нем и гости. У нас-то кое-что есть в кармане! А ваше кафе «Франция», вот увидите, в одно прекрасное утро будет закрыто, и на ставнях у него вывесят объявлениице!.. Сменить бильярд! — продолжала она про себя. — Такой удобный для раскладки белья; а в охотничий сезон на нем спит до шести человек!.. Но что же этот растяпа Ивер не едет!

— Вы ждете его, чтобы подавать обед вашим всегдашним посетителям? — спросил фармацевт.

— Ждать? А господин Бине? Ровно в шесть часов он входит в дверь; аккуратнее нет человека на свете. И всегда ему нужно одно и то же место в маленькой комнате. Хоть убей его, не согласится пообедать за другим столом! А как привередлив! Как разборчив насчет сидра! Это не то, что господин Леон: тот приходит когда в семь, а когда и в половине восьмого. Он и не глядит, что кушает. Какой прекрасный молодой человек! Никогда не повысит голоса.

— Да, знаете ли, есть разница между воспитанным человеком и сборщиком налогов из отставных карабинеров...

Пробило шесть часов. Вошел Бине.

Синий сюртук обвисал на его сухопаром теле; под кожаной фуражкой с завязанными наверху наушниками и вздернутым козырьком был виден лысый лоб, вдавленный от долголетнего нажима каски. Он носил черный суконный жилет, волосяной галстук, серые панталоны и ни в какое время года не расставался с ярко начищенными высокими сапогами, на которых выделялись над распухшими пальцами ног два параллельных утолщения. Ни один волосок не выбивался за линию его светлого воротника, охватывавшего подбородок и окаймлявшего, как зеленый бордюр грядку, его длинное бесцветное лицо с маленькими глазками и горбатым носом. Он отлично играл во все карточные игры, был хорошим охотником и обладал прекрасным почерком; дома он завел токарный станок и для забавы вытачивал кольца для салфеток, которыми с увлечением художника и эгоизмом буржуа загромождал всю квартиру.

Он направился в маленькую комнату; но сначала надо было вывести оттуда трех мельников. И все время, пока ему накрывали на стол, он молча стоял на одном месте, у печки; потом, как всегда, закрыл дверь и снял фуражку.

— Э, любезностью он себя не утруждает, — сказал аптекарь, оставшись наедине с хозяйкой.